

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

№ 14

1964



Юрий НАГИБИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

Э

Х

О

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 14

Юрий НАГИБИН

Э Х О

РАССКАЗЫ

Издательство «ПРАВДА»

Москва. 1964

Юрий НАГИБИН

Юрий Маркович Нагибин родился в 1920 году в Москве. Учился на сценарном факультете Всесоюзного государственного института кинематографии. В начале 1942 года добровольно ушел на фронт и в 1942—1943 годах находился в Действующей армии на политработе. После контузии работал военным корреспондентом газеты «Труд».

Первый рассказ его был опубликован в журнале «Огонек» в 1940 году.

Ю. Нагибин — автор ряда сборников рассказов, в том числе: «Человек с фронта», «Большое сердце», «Зерно жизни», «Зимний дуб», «Скалистый порог», «Человек и дорога», «Ранней весной», «Чистые пруды», «Друзья мои, люди», «Погоня», а также повестей: «Трудное счастье», «Павлик», «Страницы жизни Трубникова» и «Бемби» (по лесной сказке австрийского писателя Ф. Зальтена). Им написаны сценарии фильмов «Трудное счастье», «Под стук колес», «Ночной гость», «Неоплаченный долг», «Самый медленный поезд» и многих других.

Юрий Маркович Нагибин

ЭХО

Редактор — П. КРАВЧЕНКО.

А 00653. Подписано к печати 19/III 1964 г. Тираж 97 400. Изд. № 573.

Зак. 582. Форм. бум. 70×108¹/₃₂. 0,75 бум. л.—2,05 печ. л. Цена 6 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

ЭХО

Синегория, берег, пустынный в послеполуденный час, девчонка, возникшая из моря... Этому без малого тридцать лет!

Я искал камешки на диком пляже. Накануне штормило, волны, шипя, переползали пляж до белых стен Приморского санатория. Сейчас море стихло, ушло в свои пределы, обнажив широкую шоколадную, с синим отливом полосу песка, отделенную от берега валиком гальки. Этот песок, влажный и такой твердый, что на нем не отпечатывался след, был усеян сахарными голышами, зелено-голубыми камнями, гладкими, округлыми стекляшками, похожими на обсосанные леденцы, мертвыми крабами, гнилыми водорослями, издававшими едкий йодистый запах. Я знал, что большая волна выносит на берег ценные камешки, и терпеливо, шаг за шагом обследовал песчаную отмель и свежий намыв гальки.

— Эй, чего на моих трусиках расселся?— раздался тоненький голос.

Я поднял глаза. Надо мной стояла голая девчонка, худая, ребрастая, с тонкими руками и ногами. Длинные мокрые волосы облепили лицо, вода сверкала на ее бледном, почти не тронутым загаром теле, с пупырчатой проголубью от холода.

Девчонка нагнулась, вытащила из-под меня полосатые, желтые с синим трусики, встряхнула и кинула на камни, а сама шлепнулась плашмя на косячок золотистого песка и стала подгребать его к бокам.

— Одедась бы хоть...— проворчал я.

— Зачем? Так загорать лучше,— ответила девчонка.

— А тебе не стыдно?

— Мама говорит, у маленьких это не считается. Она не велит мне в трусиках купаться, от этого простужаются. А ей некогда со мной возиться...

Среди темных, шершавых камней вдруг что-то нежно блеснуло: крошечная чистая слезка. Я вынул из-за пазухи папиросную коробку и присоединил слезку к своей коллекции.

— Ну-ка, покажи!..

Девчонка убрала за уши мокрые волосы, открыв тоненькое, в темных крапинках лицо, зеленые, кошачьи глаза, вздернутый нос и огромный, до ушей, рот, и стала рассматривать камешки.

На тонком слое ваты лежали: маленький, овальный, прозрачный, розовый сердолик и другой сердолик, покрупнее, но не обработанный морем и потому бесформенный, глухой к свету, несколько камешков в фарфоровой, узорчатой рубашке, две занятных окаменелости, одна в форме морской звезды, другая с отпечатком крабика, небольшой «куриный бог» — каменное колечко и гордость моей коллекции — дымчатый топаз, клочок тумана, растворенный в темном стекле.

— За сегодня собрал?

— Да ты что?.. За все время!..

— Не богато.

— Попробуй сама!

— Очень надо! — Она дернула худым шелушащимся плечом. — Целый день ползать по жаре из-за паршивых камешков!..

— Дура ты! — сказал я. — Голая дура!

— Сам ты дурачок!.. Марки, небось, тоже собираешь?

— Ну, собираю! — ответил я с вызовом.

— И папиросные коробки?

— Собирал, когда маленький был.

— А чего ты еще собираешь?

— Раньше у меня коллекция бабочек была...

Я думал, ей это понравится, и мне почему-то хотелось, чтобы ей понравилось.

— Фу, гадость! — Она вздернула верхнюю губу, показав два белых острых клыка. — Ты раздавливал им головки и накалывал булавками?

— Вовсе нет, я усыплял их эфиром.

— Все равно гадость... Терпеть не могу, когда убивают.

— А знаешь, что я еще собирал? — сказал я, подумав. — Велосипеды разных марок.

— Ну да!

— Честное слово! Я бегал по улицам и спрашивал у всех велосипедистов: «Дядя, у вас какая фирма?» Он говорил: «Дуке», или там «Латвелла», или «Оппель». Так я собрал все марки, вот только «Эндфильда модели Ройаль» у меня не было... — Я говорил быстро, боясь, что девчонка прервет меня какой-нибудь насмешкой, но она смотрела серьезно, заинтересованно и даже перестала сеять песок из кулака. — Я каждый день бегал на Лубянской площадь, раз чуть под трамвай не угодил, а все-таки нашел «Эндфильд Ройаль». Знаешь, у него марка лиловая с большим латинским «Р»...

— А ты ничего...— сказала девчонка и засмеялась своим большим ртом.— Я тебе скажу по секрету, я тоже собираю...

— Что?

— Эхо... У меня уже много собрано. Есть эхо звонкое, как стекло, есть, как медная труба, есть трехголосое, а есть горохом сыплется, еще есть...

— Ладно врать-то! — сердито перебил я.

Зеленые, кошачьи глаза так и впились в меня.

— Хочешь, покажу?

— Ну, хочу...

— Только тебе, больше никому. А тебя пустят? Придется на Большое седло лезть.

— Пустят!

— Так завтра с утра и пойдем. Ты где живешь?

— На Приморской, у болгар.

— А мы у Тараканихи.

— Значит, я твою маму видел! Такая высокая, с черными волосами?

— Ага. Только я свою маму совсем не вижу.

— Почему?

— Мама танцевать любит...— Девчонка потрянула уже просохшими, какими-то сивыми волосами.— Давай купнемся напоследок!

Она вскочила, вся облепленная песком, и побежала к морю, перекраивая розовыми, узкими пятками.

...Утро было солнечное, безветренное, но не жаркое. Море после шторма все еще дышало холодом и не давало солнцу накалить воздух. Когда же на солнце наплывало папиросным дымком тощее облачко, снимая с гравия дорожек, белых стен и черепичных крыш слепящий южный блеск,— простор угрюмел, как перед долгой непогодью, а холодный ток с моря разом усиливался.

Тропинка, ведущая на Большое седло, вначале петляла среди невысоких холмов, затем прямо и сильно тянула вверх, сквозь густой, пахучий ореховый лес. Ее прорезал неглубокий, усеянный камнями желоб, русло одного из тех бурных ручьев, что низвергаются с гор после дождя, рокоча и звеня на всю округу, но иссякают быстрее, чем высохнут дождевые капли на листьях орешника.

Мы отмахали уже немалую часть пути, когда я решил узнать имя моей приятельницы.

— Эй! — крикнул я желто-синим трусикам, бабочкой мелькавшим в орешнике.— А как тебя зовут?

Девчонка остановилась, я поравнялся с ней. Ореховая заросль тут редела, расступалась, открывая вид на бухту и наш

поселок — жалкую горстку домишек. Огромное, серьезное море простиралось до горизонта водой, а за ним — туманными, мутно-синими полосами, наложенными в небе одна над другой. А в бухте оно притворялось кротким и маленьким, играя, протягивало вдоль кромки берега белую нитку, скусывало ее и вновь протягивало...

— Не знаю даже, как тебе сказать,— задумчиво проговорила девочка.— Имя у меня дурацкое — Викторина, а все зовут Витькой.

— Можно Викой звать.

— Тьфу, гадость! — Она знакомо обнажила острые клычки.

— Почему? Вика — это дикий горошек.

— Его еще мышиным зовут. Терпеть не могу мышей!

— Ну, Витька так Витька, а меня — Сережа. Нам еще далеко?

— Выдохся? Вот лесника пройдем, а там уже и Большое седло видно...

Но мы еще долго петляли терпко-медвянодушным орешником. Наконец тропинка раздалась в каменистую дорогу, бело сверкающую тонким, как сахарная пудра, песком, и вывела нас на широкий, пологий уступ. Тут, в гуще абрикосовых деревьев, ютилась сложенная из ракушника сторожка лесничего.

Едва мы подступили к уютному домику, как тишина взорвалась бешеным лаем. Гремя цепями, навешенными на длинную проволоку, на нас вынеслись два огромных, лохматых, грязно-белых пса, взвились в воздух, но, удушенные ошейниками, выкатили розовые языки, захрипели и шмякнулись на землю...

— Не бойся, они не достанут! — спокойно сказала Витька.

Я устал и злился на Витьку. Она знай себе вышагивала своими тонкими, прямыми, как палки, ногами с чуть скошенными вовнутрь коленками. Но впереди вдруг просветлело, я увидел склон, поросший низкой бурой травой, вдалеке тянулась кверху серая скала.

— Чертов палец! — на ходу бросила Витька.

По мере того как мы подходили, серый скалистый торчок вздымался выше и выше, казалось, он вырастал несоразмерно нашему приближению. Когда же мы ступили в его темную прохладную тень, он стал чудовищно громаден. Это был не Чертов палец, а Чертова башня, мрачная, загадочная, неприступная. Словно отвечая на мои мысли, Витька сказала:

— Знаешь, сколько людей хотели на него забраться, ни у кого не вышло. Одни насмерть разбились, другие руки-ноги поломали. А один француз все-таки залез.

— Как же он сумел?

— Вот сумел... А назад спуститься не мог, и сошел там с ума, и после от голода умер... А все-таки молодец! — добавила она задумчиво.

Мы подошли вплотную к Чертову пальцу, и Витька, понизив голос, сказала:

— Вот тут...— Она сделала несколько шагов назад и негромко крикнула: — Сережа!..

— Сережа...— повторил мне в самое ухо насмешливо-вкрадчивый голос, будто родившийся в недрах Чертова пальца.

Я вздрогнул и невольно шагнул прочь от скалы, и тут на встречу мне, от моря, звонко плеснуло:

— Сережа!..

Я замер, и где-то вверху томительно-горько простонало:

— Сережа!..

— Вот черт!..— сдавленным голосом произнес я.

— Вот черт!..— прошелестело над ухом.

— Черт! — дохнуло с моря.

— Черт!..— отозвалось в выси.

В каждом из этих незримых пересмешников чувствовался стойкий и жутковатый характер: шептун был злобно-вкрадчивым тихоней, морской голос принадлежал холодному весельчаку, в выси скрывался безутешный и лицемерный плакальщик.

— Ну, чего ты?.. Крикни что-нибудь! — сказала Витька.

А в уши, перебивая ее голос, лезло шепотом: «Ну, чего ты?..», звонко, с усмешкой: «Крикни» и как сквозь слезы: «Что-нибудь».

С трудом пересилив себя, я крикнул:

— Синегория!..

И услышал трехголосый отклик...

Я кричал, говорил, шептал еще много всяких слов. У уха был острейший слух. Некоторые слова я произносил так тихо, что сам едва слышал их, но они неизменно находили отклик. Я уже не испытывал ужаса, но всякий раз, когда невидимый шептал мне на ухо, у меня холодел позвоночник, а от рыдающего голоса сжималось сердце.

— До свидания! — сказала Витька и пошла прочь от Чертова пальца.

Я устремился за ней, но шепот настиг меня, прошелестев ядовито-вкрадчиво слова прощания, и хохотнула морская даль, и голос вверху застал:

— До свидания!..

Мы шли в сторону моря и вскоре оказались на каменистом выступе, нависшем над пропастью. Справа и слева вздымались отроги гор, а под нами зияла бездна, в которой тонул взгляд. Если бы Чертов палец провалился сквозь землю, он оставил бы

за собой такую вот огромную, страшную дыру. В глубине провала торчали острые скалы, похожие на клыки великана, в них тараном било темное, с чернильным оттенком море. Какая-то птица, распластав недвижные, будто омертвелые, крылья, медленно, кругами падала в бездну.

Казалось, что-то еще не кончено здесь, не пришли в равновесие грозные силы, вырвавшие из недр земли гигантский каменный палец, расколовшие горную твердь чудовищным колотцем, изострившие его дно шипами скал и заставившие море раздирать о них свой нежный язык. Весь каменный громозд вокруг и внизу был непрочным, зыбким, в скрытом внутреннем напряжении, стремящемся к пределу... Конечно, я не умел тогда назвать то мучительно тревожное ощущение, какое охватило меня на обрыве Большого седла...

Витька легла на живот у самого края обрыва и поманила меня. Я распластался возле нее на твердой и теплой каменной глади, и сосущая, леденящая притягательность бездны исчезла, стало совсем легко смотреть вниз. Витька наклонилась над обрывом и крикнула:

— Ого-го!..

Миг тишины, а затем густой рокочущий голос трубно прогремывал:

— О-го-го-у!..

В голосе этом не было ничего страшного, несмотря на силу его и густоту. Видимо, в пропасти обитал добрый великан, не желавший нам зла.

Витька спросила:

— Кто была первая дева?

И великан, немного подумав, отозвался со смехом:

— Ева!..

— А знаешь,— сказала Витька, глядя вниз,— никому не удалось спуститься с Большого седла к морю. Один дядька добрался до середины и там застрял...

— И умер с голода? — спросил я насмешливо.

— Нет, ему кинули веревку и вытащили... А по-моему, спуститься можно.

— Давай попробуем?

— Давай! — живо и просто откликнулась Витька, и я понял, что это всерьез.

— В другой раз,— неловко отшутился я.

— Тогда пошли... Будь здоров! — крикнула Витька в пропасть и вскочила на ноги.

— Здоров!.. — гоготнул великан.

Мне еще хотелось поговорить с ним, но Витька потащила меня дальше.

Новое эхо — по слову Витьки, «звонкое, как стекло», — гнездилося в узком, будто надрез ножа, ущелье. У эха был тонкий, пронзительный голос. Даже басом сказанное слово оно истончало до визга. И что еще противно: провизжав ответ, эхо не замолкло, а еще долго попискивало мышью в каких-то своих щелях.

Но самым удивительным было эхо, о котором Витька ничего не сказала мне. Мы не шли к нему, а ползли по круче, цепляясь за выступы, за лишайник, сухие кусточки. Из-под наших ног и рук осыпались камешки, увлекали за собой более крупные камни, позади нас творился непрерывный грохот. Когда я оглянулся, то подивился малости той высоты, которая кружила нам голову на обрыве. Море уже не казалось отсюда гладью; беспредельное, неохватное, оно сливалось с небом, образуя с ним единую сферу — купол, царящий над всем зримым простором. И Чертов палец, подчеркивая нашу высоту, вновь уменьшился до торчка.

Витька остановилась у полукруглого темного провала, ведущего в глубь горы. Я заглянул туда и, когда глаза несколько привыкли к темноте, увидел сводчатую пещеру с длинными бородами каменных сосуллек. Стены источали зеленое, красное, синее мерцание, из пещеры тянуло затхлостью склепа, и я невольно отшатнулся.

— Здравствуй! — крикнула Витька, сунув голову в дыру.

И будто заухали, сталкиваясь, пустые бочки, под сводом тяжело отдавалось «бом», дребезжало по углам и низким эхом, наконец, вырвалось наружу, словно сама гора испустила дух.

С почтительным изумлением глядел я на Витьку. Худая, крапчатая, с трепаными, сивыми волосами, острыми клычками в углах губ, с зелеными, блестящими глазами, она сама казалась мне сейчас такой же сказочной, как и сокровенный мир, в который она ввела меня.

— А ну, крикни! — приказала Витька.

Я наклонился и «ахнул» в маленький черный рот горы. И опять там заухало, заверещало, а затем дохнуло мне в лицо нездешним, гнилостным холодом. Ужасное одиночество охватило меня вдруг, одиночество и незащищенность посреди этого каменного, отвесного, из кручи падей, мира, населенного загадочными, дикими голосами.

— Пойдем, — сказал я Витьке, выдавая свое смятение. — Пойдем отсюда!..

Дальнейший наш путь я воспринимал как бесконечное падение вниз. На этом пути мимо нас снова промелькнули и Чертов палец, и большой, источенный орешник, и взлетающие на

цепях, хрипящие в удушье лесниковы псы, и другой, полный силы, орешник. Наше падение оборвалось в сухой балке, огибавшей поселок со стороны гор...

— Ну что, интересно было? — спросила Витька, когда мы ступили на нашу улицу.

Я вновь чувствовал себя в безмятежной привычности, и Витька уже не казалась мне сказочной хозяйкой горных духов. Просто карзубая, костлявая, некрасивая девчонка. И перед этой-то девчонкой я праздновал труса!

— Интересно...— сказал я лениво.— Только какая же это коллекция?

— А тебе лишь бы коробку да за пазуху?..

— Нет, отчего же... А только эхо каждому откликается, не тебе одной.

Витька как-то странно, долго посмотрела на меня.

— Ну и что же, мне не жалко! — сказала она, тряхнув волосами, и пошла к своему дому...

Мы подружались с Витькой. Вместе облазали Темрюк-каю и гору Свадебную и на Свадебной, в гротике, нашли квакающее эхо. А вот Темрюк-каю, с ее отрогами, мощными склонами и остро вонзающейся в небо вершиной, оказалась совсем бесплодной...

Мы почти не расставались. Я привык к тому, что Витька купается голая, она была добрым малым, товарищем, и я совсем не видел в ней девчонки. Смутно я понимал природу ее нестыдливости: Витька считала себя безнадежно уродливой. Я никогда не встречал человека, который бы так просто, открыто, с таким ясным достоинством признавался в своей некрасивости. Рассказывая мне как-то раз об одной школьной подружке, Витька бросила вскользь: «Она почти такая же уродина, как я...»

Однажды мы купались неподалеку от рыбацкой пристани, когда с высокого берега посыпала ватага мальчишек. Я немного знал их, но мои робкие попытки сблизиться с ними ни к чему не приводили. Эти ребята не первый год отдыхали в Синегории, считали себя старожилками и не допускали чужаков в свою ватагу. Коноводом у них был высокий, сильный мальчик Игорь.

Я уже вышел из моря и, стоя на берегу, вытирался полотенцем, а Витька продолжала резвиться в воде. Подкараулив волну, она высоко подпрыгивала и перекатывалась на животе через гребень. Ее маленькие ягодицы сверкали.

Ребята небрежно ответили на мое приветствие и хотели уже пройти мимо, как вдруг один из них, в красных плавках, заметил Витьку.

— Ребята, глядите, голая девчонка!..

Тут пошла потеха: крики, свист, улюлюканье. Надо отдать должное Витьке: она не обращала внимания на выходы мальчишек,— но это лишь подливало масла в огонь. Мальчик в красных плавках предложил «загнуть девчонке салазки». Предложение было встречено с восторгом, и мальчик в красных плавках вразвалочку направился к воде. Но тут Витька со звериной быстротой нагнулась, нашарила что-то в воде, и, когда выпрямилась, в руке у нее был увесистый камень.

— Только сунься! — сказала она, ощерив свои острые клычки.— Всю морду разобью!

Мальчик в красных плавках остановился и попробовал ногой воду.

— Холодная,— сказал он, и уши его стали краснее плавков.— Неохота лезть...

Подошел Игорь и уселся на песок у самой кромки берега. Мальчик в красных плавках без слов понял своего жоака и опустился рядом, остальные ребята последовали их примеру. Они цепочкой отрезали Витьку от берега, одежды и полотенца.

Витька долго испытывала их терпение. Она то уплывала далеко в море, то возвращалась назад, ныряла, барахталась в воде, затем сидела на подводном камне, накатывая на себя руками волны. Но холод наконец взял свое.

— Сережа! — крикнула Витька.— Дай мне трусики!

Все это время я, сам того не замечая, вытирался полотенцем. Надраенная кожа горела, словно от ожога, а я все тер и тер посуху, будто хотел протереть себя до дыр. В жалкой и унижительной растерянности, владевшей мной, билось лишь одно отчетливое желание: только бы остаться непричастным к Витькиному позору.

— Сережа, подай своей даме трусики! — шутовским голосом пропищал мальчишка в красных плавках.

Повернувшись на локте, Игорь сказал мне с угрозой:

— Попробуй только!..

Напрасное предупреждение: я и так бы не двинулся с места. Витька поняла, что ей нечего ждать от меня помощи. Жалко скорчившись, всем телом запав в худенький свой живот и закрывая его руками, лиловая и пупырчатая от холода, с покривившимся лицом, вылезла она из воды и бочком побежала к своим трусикам под хохот и свист мальчишек. То, чему она в чистоте своей души не придавала значения, предстало перед ней гадким, унижительным, стыдным.

Прыгая на одной ноге и все не попадая другой в кольцо трусиков, она кое-как оделась, подхватила с земли полотенце и побежала прочь. Вдруг она обернулась и крикнула мне:

— Трус!.. Трус!.. Жалкий трус!..

Из всех слов Витька выбрала самое злое, обидное и несправедливое. Должна же она была понять, что не кулаков Игоря я испугался. Но ей, видимо, хотелось вконец опозорить меня перед ребятами.

Не знаю, был ли то каприз жоака, не желающего идти на поводу у стаи, или что-то заинтересовало Игоря в Витьке, но только он вдруг спросил меня дружелюбно и доверчиво:

— Слушай, она что, чумовая?

— Конечно, чумовая! — подался я весь навстречу этой доброте.

— А чего ты с ней водишься?

Вовсе не для того, чтобы обелить Витьку, лишь желая выгородить себя, я сказал:

— С ней интересно, она эхо собирает.

— Что? — удивился Игорь.

В низком порыве благодарной откровенности я тут же выложил все Витькины секреты.

— Вот это да! — восхищенно сказал Игорь.— Третье лето тут живу, а ничего подобного не слышал!

— А ты не загибаешь? — спросил меня мальчишка в красных плавках.

— Хотите, покажу?

— Все! — властно сказал Игорь, вновь становясь жоаком.— Завтра поведешь нас туда!..

С утра моросило, горы затянуло сизо-белыми, как бы мыльными облаками, к угрюмому шуму побуревшего, цвета горной травы моря примешивался рокот набухших ручьев и речек.

Но ватага Игоря решила не отступать. И вот снова вьется под ногой теперь уже знакомая тропка, а посреди нее, перекатывая гальку, бежит мутный, желтый ручеек. Орешник пахнет уже не медово-сладким, с легкой пригоречью духом, а гнилью палой листвы, кислетью размытой земли, в которой перелевает что-то, источая уксусно-винный запах. Идти трудно, ноги разъезжаются на мокрой земле, оскальзываются на камнях...

Возле лесникова дома встретили нас обычным истошным лаем сторожевые псы, но в волглом воздухе лай их звучит мягче, глуше, да и сами они уже не кажутся такими грозными в своей мокро свалывшейся шерсти. Видны их черные глаза, похожие на масляни.

Чертов палец, затянутый облаками, долго не показывался, затем в недосыгаемой выси прочернела его вершина, скрылась, на миг обнажился во весь рост его ствол и вмиг истаял в клубящемся воздухе. Странно, ветер рвал к морю, а легкие, как

пар изо рта, облака тянули с моря. Они скользили по самой земле, накрывали нас влажной дымкой и вдруг исчезали, оседая росой на склонах.

Наконец из облачной мути вновь выдвинулся Чертов палец и преградил нам дорогу.

— Ну, подавай свои чудеса в решетке,— без улыбки сказал Игорь.

— Слушайте! — произнес я торжественно, чувствуя, как знакомо холодеют косточки хребта, сложил ладони рупором и закричал:

— Ого-го!..

В ответ — тишина, ни зловеще-вкрадчивого шепота, ни хохочущего всплеска с моря, ни жалобы в выси.

— Ого-го! — крикнул я еще раз, подступив ближе к Чертову пальцу, и все ребята вразной подхватили мой возглас.

Чертов палец молчал. Мы кричали, и еще, и еще — и хоть бы малейший отзвук! Тогда я кинулся к пропасти, ребята за мной, и что было мочи заорал в клубящуюся глубь. Но и великан не отозвался.

В растерянности я заметался от пропасти к Чертову пальцу, от Чертова пальца к расщелине, и снова к пропасти, и снова к Чертову пальцу. Но горы безмолвствовали..

Я жалко стал уговаривать ребят подняться наверх к пещере, уж там-то мы наверняка услышим эхо! Ребята стояли передо мной, молчаливые и суровые, как горы, потом Игорь разжал губы, чтобы сказать одно только слово:

— Трепач!

И, круто повернувшись, он пошел прочь, увлекая за собой всю ватагу.

Я плелся позади, тщетно пытаюсь понять, что же произошло. Меня не заботило сейчас презрение ребят, я хотел лишь постигнуть тайну своей неудачи. Неужто горы отзываются только на Витькин голос? Но когда мы были с ней вместе, горы послушно откликались и мне. Может, она впрямь владеет ключом, позволяющим ей запирасть в каменных пещерах голоса?..

Наступили печальные дни. Витьку я потерял, и даже мама осудила меня. Когда я рассказал ей загадочную историю с эхом, мама смерила меня долгим, чуждым, изучающим взглядом и сказала невесело:

— Все очень просто: горы отзываются только чистым и честным...

Ее слова открыли мне многое, но не загадку горного эха. Дожди не прекращались; море как бы поделилось на две части: в бухте оно было мутно-желтым от песка, наносимого реками и ручьями, в отдалении блистало чистым телом. Непре-

станно дул ветер. Днем он размахивал серой простыней дождя, ночью, всегда ясной, в мелких белых звездах, он был сухим и черным, потому что обнаруживал себя в черном: в мятущихся сучьях, ветвях, стволах, в угольных тенях, пробегающих по освещенной земле.

Несколько раз я мельком видел Витьку. Она ходила на море в любую погоду и сумела набрать от скудного, редкого солнца густой шоколадный загар. От тоски и одиночества я каждый день сопровождал теперь маму на базар, где шла торговля местными продуктами: овощами, абрикосами, козьим молоком, варенцом. Раз я повстречал на базаре Витьку. Она была одна, на руке у нее висела плетеная сумка. Я смотрел, как она ходит среди лотков и бидонов в своих желто-синих трусиках, решительно отбирает помидоры, сама шлепает на весы шматок мяса, и с болью чувствовал, что потерял хорошего друга.

Утром, в первый солнечный день, я бродил по саду, подбирая пальцы, с мягкой гнильцой абрикосы, когда кто-то окликнул меня. У калитки стояла девочка в белой кофточке с синим матросским воротником и синей юбке. Это была Витька, но я не сразу ее узнал. Ее сивые волосы были гладко причесаны и сзади повязаны ленточкой, на загорелой шее ниточка коралловых бус, на ногах туфли из лосиной кожи. Я бросился к ней.

— Слушай, мы уезжаем,— сказала Витька.

— Почему?..

— Маме тут надоело... Вот что, я хочу оставить тебе свою коллекцию. Мне она все равно ни к чему, а ты покажешь ребятам и помиришься с ними.

— Никому я не покажу! — горячо воскликнул я.

— Как хочешь, пусть она останется у тебя. Ты догадался, почему у вас ничего не вышло?

— А ты откуда знаешь, что не вышло?

— Слышала... Так догадался?

— Нет...

— Понимаешь, самое главное,— это с какого места кричать.— Витька доверительно понизила голос.— У Чертова пальца — только со стороны моря. А ты, наверное, кричал с другой стороны, там никакого эха нету. В пропасти надо свеситься вниз и кричать прямо в стенку, Помнишь, я тогда тебе голову нагнула?.. В расщелине ори в самую глубину, чтобы голос дальше ушел. А вот в пещере всегда отзовется, но вы туда не дошли.

— Витька!..— начал я покаянно.

Ее тонкое лицо скривилось.

— Я побегу, а то автобус уйдет...

— Мы увидимся в Москве?

Витька мотнула головой.

— Мы же из Харькова...

— А сюда вы еще приедете?

— Не знаю... Ну, пока!..— Витька смущенно склонила голову к плечу и побежала прочь.

У калитки стояла моя мама и долгим, пристальным взглядом глядела вслед Витьке.

— Кто это? — как-то радостно спросила мама.

— Да Витька, она у Тараканихи живет.

— Какое прелестное существо! — глубоким голосом сказала мама.

— Да нет, это Витька!..

— Я не глухая...— Мама опять посмотрела в сторону, куда убежала Витька.— Ах, какая чудесная девчонка! Этот вздернутый нос, пепельные волосы, удивительные глаза, точеная фигурка, узкие ступни, ладони...

— Ну что ты, мама! — вскричал я, огорченный странным ее ослеплением: оно казалось мне чем-то обидным для Витьки.— Ты бы видела ее рот!..

— Прекрасный большой рот!.. Ты ровным счетом ничего не понимаешь!

Мама пошла к дому; я несколько секунд смотрел ей в спину, потом сорвался и кинулся к автобусной станции.

Автобус еще не ушел, последние пассажиры, нагруженные сумками и чемоданами, штурмовали двери. Я сразу увидел Витьку с той стороны, где не открывались окна. Рядом с ней сидела полная черноволосая женщина в красном платье, ее мать.

Витька тоже увидела меня и ухватилась за поручни рамы, чтобы открыть окно. Мать что-то сказала ей и тронула за плечо, верно, желая усадить Витьку на место. Резким движением Витька смахнула ее руку.

Автобус взревел мотором и медленно пополз по немощеной дороге, растянув за собой золотистый хвост пыли. Я пошел рядом. Закусив губу, Витька рванула поручни, и рама со стуком упала вниз. Мне легче было считать Витьку красивой заглазно — острые клычки и темные крапинки, раскиданные по всему лицу, портили тот пересозданный мамой образ, в который я уверовал.

— Слушай, Витька,— быстро заговорил я,— мама сказала, что ты красивая! У тебя красивые волосы, глаза, рот, нос...— автобус прибавил скорость, я побежал...— руки, ноги, правда же Витька!

Витька только улыбнулась своим большим ртом, радостно, доверчиво, преданно, открыв в этой большой улыбке всю свою хорошую душу, и тут я своими глазами увидел, что Витька, и верно, самая красивая девчонка на свете.

Тяжело оседая, автобус въехал на деревянный мосток через ручей, границу Синегории. Я остановился. Мост грохотал, ходил ходуном, но передние колеса автобуса уже ухватили дорогу. В окошке снова появилась Витькина голова с трепещущими на ветру пепельными волосами и острый загорелый локоть. Витька сделала мне знак и с силой швырнула через ручей серебряную монетку. Сияющий следок в воздухе свис в пыли у моих ног. Была такая примета: если кинешь тут монетку, когда-нибудь непременно вернешься назад...

Мне хотелось, чтобы скорее пришел день нашего отъезда: тогда я тоже брошу монетку, и мы снова встретимся с Витькой.

Но этому не суждено было сбыться. Когда через месяц мы уезжали из Синегории, я забыл бросить монетку.

ЧЕЛОВЕК И ДОРОГА

Могучие, рустированные шины жуют дорогу. Пятитонный грузовик с высоченным контейнером в кузове оставляет за собой на заснеженном грейдере не след, а какую-то коричневую кашу. Можно подумать, он стремится, чтобы уж никто другой не повторил за ним этот путь. На прямой он злобно расшвыривает комья снега и гравий, проминая настил до мягкой глинистой основы; на подъемах с ревом отваливает от дороги целые куски — жирные комья глины оползают в кювет; на спусках, свистя и шипя пневматическими тормозами, напрочь сдирает с дороги шкуру. Он то быстро катится вперед, то еле ползет, рыча мотором, то бессильно скользит под уклон, и каждая перемена в его движении отражается на многострадальном теле дороги. Но грузовику нет до этого дела. Рачьи глаза его фар устремлены в даль, подернутую ранним ноябрьским сумраком. Всему чужой, посторонний, движется он вперед; чужой лесу, чужой полю, чужой деревенькам с придавленными снегом крышами, чужой замерзшей реке и старой водяной мельнице в стеклянной бороде сосулук. Он полон своей далекой целью, своим ревом, воем и скрежетом, своей душевной, горькой вонью, даже воздух у него свой — он движется в голубоватом, плотном облачке.

И до него никому нет дела: ни лесу, ни полю, ни деревне, ни реке, ни мельнице. Разве метнется иной раз под колеса захлебнувшийся лаем пес или погонится, пытаясь ухватиться

за крыло, мальчишка на одном коньке да, слышав издали надсадный гуд, не оборачиваясь, свернет к обочине розвальни колхозный возчик. Встречных и попутных машин нет, поздно, и день субботний, не с кем грузовику перемигнуться фарами, обменяться хриплым лайком сигнала.

Вечереет быстро. В избах зажигаются огни, на деревенских улицах — редкие фонари, в небе — луна, и рядом с грузовиком возникает огромная, уродливая угольно-черная тень. Она стелется по снегу, карабкается на деревья, скользит по стенам изб, то обгоняет грузовик, то идет колесо в колесо, то отстает от него.

Но огромный, могучий, яростный в своей борьбе с дорогой грузовик — всего только мертвая жестянка. Чужая воля, чужая одушевленность наделяет его этой шумной, горячей жизнью, этим упорством и неутомимостью. В кабине, держа ноги в стоптанных кирзовых сапогах на педалях, а руки на крестовине руля, вглядываясь красными, воспаленными глазами в даль, сидит худощавый паренек лет двадцати четырех, с широкой, плоской грудью и налившимися на измазанный автолом лоб темными колечками волос. Его армейская ушанка без звездочки сдвинута на затылок, ватник распахнут. В кабине тепло от мотора, ватные штаны немного сползли, обнажив меж поясом и рубашкой полоску смуглого юношеского тела.

Водитель первого класса Бычков смертельно устал, он работает вторую смену подряд, без сна и отдыха проделал он на этом грузовике около тысячи километров по скверным, разбитым дорогам с тяжелыми, неудобными грузами. Больше всего устает у него спина, потому что каждый груз чувствует он спиной, будто несет его на себе. Подъем — и его тянет за шею и лопатки назад; спуск — будто целый дом навалился, становится нечем дышать; притормозил — и словно кто-то злобный уперся в поясницу коленом. Но от этого груза у него болят и спина, и ребра, и вся грудная клетка. В контейнере заключен трансформатор, срочно нужный на самом дальнем и отсталом Четвертом участке. Этот груз с боковой неустойчивостью, он не только на повороте, но и при каждом движении руля кренит машину набок, грозя опрокинуть в кювет, и Бычков невольно выламывает тело в другую сторону, так что трещат ребра и хрустят, смещаясь, позвонки.

Черт бы побрал и трансформатор и Четвертый участок, где всегда аврал, всегда чего-то недостает и все требуется в край, в обрыз! Черт бы побрал начальника автоколонны Косачева, сунувшего ему эту езду, и черт бы побрал его самого, согласившегося ехать, когда ехать должен был вовсе не он, а Панютин! С обидой и желчью Бычков в который раз вспоминал,

как окрутил его Косачев. Утром этого дня немолодой, лет под сорок, шофер Панютин забрал из роддома жену, принесшую ему двойню. Очумев от своего позднего отцовства, он кое-как провальный полсмены, а затем отпросился домой. Едва он ушел, потребовалось везти на Четверку трансформатор. Косачев — сразу к Бычкову: выручай! Конечно, он наотрез отказался, какое дело ему до Панютина с его двойняшками? Раз должен работать, так работай, а он свое отищачил и сейчас пойдет пиво трескать. Но Косачев ушлый, всегда знает, чем взять человека. «Я, конечно, могу заставить его, да на этих женатиков надежда плоха. Дорога опасная, ночная, груз трудный, а у него близнята на уме. Ладно еще, коль просто застрянет, а ну-ка гробанет трансформатор?.. Нет, тут нужен человек свободный, а который в детских писках, тому доверить нельзя!» Знает начальник колонны, что недолюбливает Бычков людей женатых, устроенных, на том и поймал. Захотелось Бычкову доказать, что Панютин хоть и муж, и отец, и глава семьи, а он, Бычков, — бобыль, ни кола, ни двора — все же больше Панютина стоит. Вот и расплачивайся боками! А главное, теперь-то уж ясно, что Косачев освободил Панютина от этой проклятой ездки только из уважения к его отцовству. Да еще потому, может, что берег его: дорога-то, и верно, дрянь, особенно на подъеме у Четвертого участка, а тут еще груз такой! Одно дело — гробанется Панютин, глава семьи, другое — он, Бычков, одиночка. Спишут в расход, и все. И оттого еще горше и злей становится на душе, и мысль привычно сворачивает к тому, что исковеркало его жизнь. Правда, она всегда при нем, эта мысль, не покидает его ни в дороге, ни во хмелю, даже ночью, когда он спит, является она к нему снами. Но бывает, она спокойной, привычной тяжестью дремлет на дне души, а то вдруг с переносной силой терзает сердце и мозг.

Алексей и сам бы не мог сказать, когда полюбил он Тосю. Когда полюбил он мать? Всегда любил, как только почувствовал в себе сердце. Всегда они были вместе, с детских лет, на улице, на реке, на вырубке, полной сладкой, пахучей земляники, на школьных переменках. А если и оказывались врозь, то тут же начинали искать друг друга. Жених и невеста — так звали их все на деревне. Прошли годы, Алексей и Тося уже не в смех, а взаправду стали женихом и невестой. И, уходя в армию на действительную, он не просил Тосю помнить и ждать. Он просто поцеловал ее в полные, прохладные губы, поглядел в глаза, пожал руку и уехал, самый спокойный и уверенный из всех, кому доводилось когда разлучаться.

Все четыре года, что Алексей прослужил в армии, он исправно получал от Тоси письма и фотокарточки. Ее лицо с го-

дами мало менялось, оно становилось лишь еще круглее, чище и глаже, еще прямее и открытее глядели светлые, спокойные глаза. И он сам не мог бы сказать, почему к исходу третьего года разлуки овладела им жгучая тоска...

Отслужив действительную, он вернулся в родную деревню и тут узнал, что Тося год назад вышла замуж за районного агронома. Мать уговорила бывшую невесту сына скрыть от него правду, по-прежнему писать ему письма и слать карточки, будто ничего не случилось.

Что-то сломалось в Алексее. Он стал выпивать и пьяный пошел раз бить агронома. Но, увидев немолодого, узкотелого человека в очках на длинном, тонком носу, с худыми, всосанными щеками, не нашел на нем места, куда б сладко было влупить кулак. Встретилась ему как-то Тося — она жила теперь в соседней деревне, — мелькнуло: «Задавлю!» — и опять впустую потрагился запал. Под скрещенными на груди, по локоть голыми, сильными и нежными Тосиными руками увидел он маленький, округлившийся живот — быть ей скоро матерью. Она тоже поглядела на него, смугло-бледного, кудрявого, с темными, блестящими, яркими от боли глазами, и сказала не то удивленно, не то о чем-то жалея:

— Вон ты какой стал!.. — И тихо прошла мимо.

Не смог он ужиться в деревне да и не хотел губить себя на глазах матери. Где только он ни скитался, а от себя не ушел. С полгода назад попал он сюда, в суровый Ладожский край, на строительство высоковольтной линии, и приглянулся ему угрюмый покой здешних мест, темные еловые леса, пустынные дороги, особняком стоящие мачтовые сосны, уныло гудящие кронами, прохладная сдержанность старожилов, непритязательная простота товарищей по работе.

Он научился часами торчать в дымной, вонючей забегаловке, где слепой баянист — глаза ему будто птица выклевала из глубоких, темных орбит — без устали и подъема играл «На сопках Маньчжурии», «Дунайские волны» и особо для Алексея, получив трояк в сухую, цепкую лапу, его любимый «Синий платочек». Научился пить водку без закуски, коротко сходиться и в кровь ссориться с людьми, которых видел в первый и последний раз в жизни, научился с девочками раньше слов пускать в ход руки, научился не думать ни о настоящем, ни о будущем, вот только о прошлом не думать не научился.

Стрелка спидометра дрожит около двадцатого километра, при такой скорости он едва ли доберется до Четверки раньше чем через три часа. Спать расхотелось, и даже маятниковое покачивание дворника, смывающего с лобового стекла клейкую изморозь, уж не укачивает, как в начале пути.

Луна скрылась за облака, и простор обрезался по обе стороны дороги. Впереди, там, где обрывался свет фар, дорога упиралась в черную стену ночи, и казалось, машина разобьется об эту непроглядную, твердую тьму. Но стена не давала приблизиться к себе, она отодвигалась все дальше и дальше, и дорога наращивалась ей вслед, будто рождаемая светом фар. Порой из черного небытия на обочину выпрыгивали то куст, то дерево, то старый, полусгнивший верстовой столб и, просуществовав краткий миг, исчезали.

Зеленая, в замерзших круглых капельках, еловая лапа повисла над дорогой, заиграла радужными переливами, но вдруг погасла и, темная, грузная, тяжело охлестнула лобовое стекло, просыпала на капот стеклянную хрупь и сгнула. Машина вошла в лес и, отмахивая стволы и ветви, двинулась по лесному коридору.

Вскоре лес остался позади, Бычков сбавил скорость, и ход машины стал вновь натужлив и ровен. Затем по возросшему давлению на спину он почувствовал, что дорога неприметно пошла под уклон. Желтые лучи фар поглубели и съезжились, в них за клубился туман. Он переключил фары на ближний свет, будто подобрал его под передние колеса машины. Туман реял от самой земли, и глубокие борозды, бугры и рытвины разбитого грейдера, окутанные голубоватой, волнующейся дымкой, казались живыми волнами реки. По обоим берегам этой реки навстречу машине побежали белые, похожие на карликовых человечков каменные столбики. Туман за клубился еще гуще, и настоящая, невидимая за ним река метнула под колеса машины гулко и мягко проседающие доски деревянного мостка. Машина одолела бугор и вырвалась из тумана в чистую бархатную тьму. Впереди возникли огни деревни, Бычков переключил свет, и длинный луч серебром растекся в темном окне ближней избы.

Несмотря на холодный, не морозный даже, а знойкий, как то нередко бывает в стык осени и зимы, ветреный, неприятный вечер, молодежь гуляла. Прямо посреди улицы шли танцы. Шум мотора заглушал музыку, тьма скрывала баяниста от глаз Быčkoвa, и странны были ему эти, как во сне, кружащиеся под неслышную музыку пары. Выхваченные из мрака фарам, они будто не замечали, что на них надвигается громада грузовика, они все кружились и кружились, будто были бесплотными духами, сквозь которые грузовик мог пройти, как сквозь туман. Бычков нажал на кнопку сигнала, и громкий, долгий, унылый звук прорезал ночь. Пары неохотно расступались, иные выпархивали из-под самых колес грузовика, ко-

гда Бычков уже не видел их за прямым срезом капота, но никто не прекратил танца, не оборвал плавного, зачарованного кружения.

«Вот скаженные!» — усмехнулся про себя Бычков, расправил тело, с хрустом зевнул и вспомнил, что под сиденьем лежит початая четвертинка водки. Это его обрадовало, хотя пить ему сейчас не хотелось. Просто было приятно знать, что она лежит там, холодненькая и скользкая. Ну и пусть пока полежит. Он достал из кармана мятую пачку «Прибоя», встряхнул, вынул зубами папиросу, чиркнул зажигалкой, закурил.

Машина подошла к околице, и справа на дороге мелькнула фигура женщины с поднятой рукой. По сути, только эту белую, отчетливо выделяющуюся в ночи руку и успел увидеть Бычков. Он резко затормозил, но его протащило еще на добрый десяток метров вперед. Прошло время, пока женщина добежала до машины.

— Подвезете, товарищ водитель? — услышал он запыхавшийся голос.

Бычков высунулся из кабины. Темно, но все же он сразу увидел, что женщина молода, лет двадцати пяти, не больше. Взгляд его привычно пробежал сверху вниз, ощущая и оценивая выбившиеся из-под платка светлые волосы в искиринках снега, постекленевшее от ветра и холода, чистое, круглое лицо, тугую грудь, сдавленную жеребковым жакетом. И он недобрым голосом сказал:

— Садись!..

Когда женщина взбиралась на высокую ступеньку, предвзвешенно кинув в кабину две связанные узлом, туго набитые «авоськи», он увидел круглое, обтянутое шелковым чулком колено и высокий черный, резиновый ботик. Ишь, вырядилась!

Женщина наконец уселась, пристроила в ногах свои «авоськи» и счастливо выдохнула:

— Надо же как повезло! Я уж и не надеялась нынче на Четверку попасть! — И вдруг испуганно спохватилась: — А вы на Четверку едете?

— На нее самую.

Теперь Бычков разгадал причину своего недоброго чувства к этой незнакомой женщине: чем-то она неуловимо напоминала Тосю. Ни в чертах лица, ни в фигуре не было сходства. Тося выше, худее, темноволосая, большеглазая, большеботая; эта подбористей, короче и крепче статью, черты лица мелкие, точеные: маленький нос и рот, небольшие светлые глаза, светлые волосы. Пожалуй, лишь спокойная круглота овала была у них общей. Но дело не в том. От этой женщины сразу же повеяло на него Тосиной прохладой, исключаящей короткость.

То, что она даже не взглянула на него, устраиваясь в кабине, что в ее словах и жестах не мелькнуло никакой игры, естественной при знакомстве молодой женщины с молодым мужчиной, даже в той пренебрежительной бесцеремонности, с какой она задрала ногу на ступеньку, проглядывал характер независимый и вместе с тем узкий, скупой, Тосин характер...

Он тронул машину с места. Женщина чуть приподнялась и расправила юбку, чтоб не помять. На ее круглом, спокойном лице отразилась обычная убогаторенность путника, наконец-то поверившего, что движется к своей цели.

Бычков ждал, что она о чем-то спросит его, ну хотя бы: откуда, мол, держишь путь или когда доберемся до Четверки,— но женщина молчала и даже не глядела в его сторону. И в этом было что-то от Тоси, от Тосиной душевной скупости. Недаром в пору детства и юности хватало с нее его дружбы, она даже не заводила себе подруг.

— А вы что, живете на Четверке? — спросил Бычков.

— Ага! — кивнула она, не поворачивая головы.

— Местная?

— Нет, мы с Тихвина.

— А сюда как попали?

— Как все — нанялась.

— Замужняя?

Женщина отрицательно мотнула головой.

— А гуляешь с кем? — переходя на «ты», спросил Бычков.

— Еще чего! Я не для гулянок сюда ехала.

И в этих ее словах не было никакой игры, ни намек на кокетство.

— А для чего ж ты ехала? — спросил Бычков.

— Для чего все, для того и я,— сказала она упрямым голосом.

— Монету, что ль, зашибать?

Женщина не ответила, но Бычков понял, что угадал. И он почувствовал свое превосходство над этой опрятной, нарядно одетой, знающей себе цену женщиной: его-то мало интересовали заработки.

— На приданое копишь? — усмехнулся он.

— Может, и на приданое,— ответила она с вызовом.

— А где работаешь-то?

— В магазине.

— Ну, этак ты быстро скопишь,— сказал Бычков.

Она не отозвалась, спокойно и неподвижно глядя перед собой.

Бычков постарался представить себе ее будущего мужа. Он

рисовался ему вроде Тосиного агронома: немолодой, хлипкий, узкотелый тип в очках. Почему-то такие вот крепкие, самостоятельные, всерьез строящие свою жизнь девчата любят брать в мужья солидных городских людей с образованием. «Ведь не пойдут она за такого простого, скромного парня, как я»,— думал Бычков, забывая, что давно перестал быть простым и скромным. Впрочем, он глядел на себя сейчас глазами своей спутницы, которой неведома его нынешняя худая жизнь и худая слава. И ему остро захотелось насолить этому агроному, вечно становящемуся на его пути, этому вкрадчивому тихоне, отбивающему лучших девчат у настоящих, боевых парней.

— Ну, такую кралечку и без приданого возьмут! — сказал он и, сняв руку с баранки, умял ватное плечо женщины.

Быстрым движением, словно ожидая этого, она откинула его руку. Он ухватил ее под локоть, потянул к себе. Она вырвалась и, когда он повторил попытку, взяла его за пальцы и, заломив их довольно больно, отвела и положила на баранку.

— Эх тебя разывает! — сказала она без особой, впрочем, обиды.— Выпимши, что ли?

— Нет! — усмехнулся Бычков.— Хорошо, что напомнила!

Притормозив, он нагнулся, нашарил в обтирочном тряпье холодную, как льдышка, четвертинку, достал ее и, стукнув доньшком о колено, вышиб пробку.

— Долбанем?

Женщина брезгливо передернула плечами.

— Я ее, гадость такую, в рот не беру.

— Вольному воля!

Вопреки ожиданию водка почему-то не пошла, и сделав два больших глотка, Бычков отставил бутылку. Хоть водка показалась невкусной, но приятное тепло разлилось по телу, и голова не только не затуманилась, напротив, прояснела, и притупившиеся от усталости чувства обрели дневную остроту. Сквозь привычную вонь солярки и автола он услышал едковатый запах отошедшего в тепле меха и аромат то ли духов, то ли одеколona в смеси с пахучей пудрой. И опять что-то шевельнулось в Бычкове. Он просунул правую руку женщине за спину и попытался обнять.

— Пусти!.. Слышь?!.— Она резко вырвалась.

— Ладно строить-то! — с досадой сказал Бычков.

— Чего тебе надо? — спросила женщина, впервые повернувшись к нему.

И странно, даже когда она сердилась, лицо ее сохраняло неподвижность, так туго обтягивала его гладкая, молодая кожа. Весь гнев сосредоточился в глазах, маленьких, светлых, блестящих.

Бычков не знал, чего ему надо. Он слишком вымотался, устал, чтобы чего-нибудь хотеть. Пожалуй, хотелось одного: на миг почувствовать себя хозяином положения, чтобы от него, Быčkова, зависела судьба его стародавнего врага и счастливого соперника. Случись так, он бы и сам оставил ее в покое; пренебречь властью куда слаще, чем использовать ее. Но упрямое сопротивление женщины разожгло в нем злобу. Он вновь с силой потянул ее за плечи.

— Пусти!.. Я не такая!.. Пусти!.. Я сойду!..

— Не шуми,— сказал он спокойно.— Не то впрямь ссажу.

— Ссаживай!.. Я и сама не поеду!..

Бычков остановил машину, перегнулся через колени женщины и распахнул дверцу. В кабину пахло резкой, пронизывающей стужей.

— Слазь,— не глядя на нее, сказал Бычков.

Женщина шмыгнула маленьким носом, поправила «авоськи» и не двинулась с места.

— Слазь, что ли? — лениво сказал Бычков.

— А ты не будешь приставать? — сказала она вдруг, склонясь к нему и просяще заглядывая в глаза.— Не будешь, миленький?

«Вот уж миленьким стал! — усмехнулся про себя Бычков.— Этим меня не возьмешь!»

Он переключил свет на малый, достал переноску и вылез из машины. Холод и тьма охватили его со всех сторон. Да, неважно сейчас остаться одному на дороге. Откинув крышку капота, он проверил уровень масла, затем вытащил пробку радиатора, откуда с шипением выстрелил горячий, седой пар, проверил, не выкипела ли вода. Поколотил каблук в твердые, как камень, шины; став на колесо, подергал канаты, державшие контейнер, и вернулся на место.

Женщина сидела, надув губы. И снова ее чистое круглое лицо, опрятная, нарядная одежда вызвали в Быčkове злость и раздражение. Ее гладкие щеки, ее потемневшие от растаявшего на них снега волосы, ее молодая, тугая грудь, ее крепкие ноги с круглыми коленями были не для него. Так же, как не для него оказались другие темные волосы, другое круглое лицо с твердыми ямочками на щеках, другое сильное, неузнанное тело.

Бычков достал папироску, стал раскручивать в пальцах и порвал. Швырнув папиросу за окошко, вынул другую и закурил. Дым из неразмятого табака тянулся плохо, не доходил до души, Бычков вышвырнул и эту папиросу.

— Поедем, что ли? — тихо и нетерпеливо сказала женщина.

Бычков положил ей руку на колено. Женщина не шелохну-

лась. Тогда он включил вторую скорость, и грузовик, дрогнув всем могучим составом, стронулся. Разогнав его, Бычков последовательно включил третью, четвертую и, наконец, пятую скорость. После этого он вернул руку на колено женщины. Споткнувшись о металлическую застежку резинки, рука его скользнула дальше, и Бычков почувствовал под ладонью живое тело. Женщина сидела, оборотив лицо к боковому стеклу, и словно не замечала его прикосновения. Бычков слегка провел рукой по ноге женщины, холодной, нежной, беззащитной. Невозможная, щемящая нежность и жалость хлынули ему в сердце. Он медленно потянул руку назад, очень тихо и осторожно, словно боялся оскорбить ее этим движением, вздрогнул, снова зацепившись за металлическую застежку, и облегченно вздохнул, наконец-то выпростав руку.

Он положил ладонь на баранку и сразу снял. На ней, словно второй покров, прилипший к коже, легким холодком сохранялось запретное прикосновение, и от ладони током шло по всему существу Бычкова смятенное чувство стыда, жалости, раскаяния и непонятной, необъяснимой радости.

— Ты не бойся...— произнес он хрипло и трудно.— Не такой уж я...— Он не знал, как определить себя, и не докончил фразы.

Женщина глядела прямо перед собой на подмерзшее, непрозрачное лобовое стекло, выпятив пухлые губы и часто моргая светлыми колючими ресницами.

— Правда, я не такой,— повторил Бычков.— Жизнь меня обидела, люди обидели...

Женщина молчала.

— Ну, можете вы понять меня? — тоскливо сказал Бычков, заглядывая ей в глаза.— Сдуру я, с обиды!..

— От меня вам никакой обиды не было,— уронила она наконец.

— Да не от вас! — И горячо, путано принялся он рассказывать ей о том, о чем не говорил никому и никогда, ни трезвый, ни пьяный: о своей любви, об измене, о боли, сломавшей ему душу.

Она не прерывала его ни одним словом, но губы ее оставались такими же надутыми, а лицо запертым. Она не простила ему обиды, и Бычков, понимая, как нехорошо, нечисто ее обидел, желал лишь, чтобы она позволила ему выговориться до конца. Тогда она увидит, что не пропащий он человек, есть в нем живая душа, и простит его.

— Полтора года мыкаюсь по белу свету, а все места не нахожу... Самому глядеть на себя тошно... А я ведь дом люблю, семью люблю, детей люблю... Коль прилеплюсь к кому сердцем, все отдам, чтобы дорогому человеку хорошо со мной было...

Он говорил и с каждым словом сильнее чувствовал, что эта молчаливая, скромная, чистая женщина, первая поверенная его обманутого сердца, становится ему все нужнее и ближе. И скупое «ага», каким она изредка подтверждала, что слушает, теплом отзывалось в сердце.

Ее сходство с Тосей уже не мешало ему, напротив, та, прежняя Тося словно приняла новый образ, слилась с этой женщиной, растворилась в ней.

Смутно угадывая за тихим, скромно замкнутым обликом своей спутницы прочную житейскую трезвость, что было мило ему в противовес нынешней его постылой незаземленности, Бычков говорил:

— Я за деньгами не гонюсь и то больше полутора тысяч зарабатывать. А по моей жизни и половины не проживешь. Я матери каждый месяц тысячу посылаю. Она, бедная, не рада этим деньгам, плачет над ними. Мне, пишет, ничего от тебя не надо, у меня дом, хозяйство, я и сама работаю, да и дочь при мне. У матери только и свету в окне, чтобы я своим домом зажил, а она бы внуков качала. А я, правду вам скажу, никакой работы не боюсь, было б только для кого...

Бычков робко посмотрел на свою спутницу. Она сидела все так же прямо, неподвижно, строгая, чинная, но, видно, что-то отпустило ее внутри, в ее лице появилась успокоенность, губы не дулись больше, а ровно и мягко розовели меж двух темных ямочек. Радуюсь этому пробудившемуся доверию, Бычков тихо говорил:

— Вы любого про меня спросите, всякое скажут, и зашибает, мол, и то да се, а чтобы там лодырь или работник плохой — такого не услышите. А по-моему, коль человек не остыл к работе, его не поздно на правильную дорогу вывести. Как вы думаете? — спросил он с надеждой.

Женщина не ответила. Бычков подождал и осторожно взглянул ей в лицо. Тихое, ровное, глубокое дыхание выходило из ее полукрытого маленького рта, а глаза, прикрытые коротковатыми веками со светлыми иголочками ресниц, казались зажмуренными. Она спала. Это не обидело, напротив, умилило Быčkova, как новый знак доверия. Она не боялась его, она как бы поручила ему себя, значит, сказанное им дошло до ее сердца. И в этом доверчивом, незащитном сне почудился ему молчаливый ответ на невысказанный им прямо вопрос. И тогда из самых глубин его существа всплыло нежное, горящее, опалющее, надежное, заветное слово.

— Жена!.. — произнес он одними губами. — Жена!..

Одинокая слеза обожгла ему щеку. Он смутился, засмеялся и вытер щеку о плечо.

Будто горохом, дробно ударило по лобовому стеклу: машина въехала в дождь. Так нередко случается в эту пору — за один день переезжаешь из зимы в осень, из осени в зиму. Гонимые ветром стезжки дождя летели навстречу грузовику, как темные, короткие стрелы. Капот покрылся мелкими фонтанчиками. Забыл ветер под жестью крыльев, и в жар, идущий от мотора, вплелись студеные, пронизывающие нити. Бычков стянул с себя ватник и бережно, стараясь не коснуться, укутал ноги женщины.

Мокрый ветер дул изо всех щелей машины, но горячий, быстрый бег крови защищал Бычкова от холода. Он слышал слабое дыхание спящей, и в нем пело чувство путника, после долгих странствий вернувшегося в родимый дом. И как путник, вернувшийся издалека, он не мог наговориться. Пусть не доходит до женщины звук его голоса, все равно она слышит его как бы внутренним слухом. И Бычков говорил и говорил о былом, о настоящем, о будущем, о тоске своей по близкому человеку, о том, что он спасен этой встречей.

Внезапно Бычков замолчал и приник к стеклу. Сквозь дождь вперемешку со снегом увидел он на дороге темную фигуру человека. Он придавил пальцем кнопку сигнала и тут же отдернул, испугавшись, как бы резкий звук гудка не разбудил спутницу. Человек на дороге нелепо размахивал руками и что-то кричал. Бычков помигал фарами, чтоб тот убирался, и, когда человек отскочил в сторону, промчался мимо, не снижая скорости.

— Место занято, дорогой товарищ,— сказал он вслух, будто человек мог услышать его.

Четвертый участок возник впереди и вверху россыпью электрических огней. Он раскинулся на взлобке холма, за рекой. Бычков с разгону въехал на лед и почувствовал под колесами машины странную, зыбкую, податливую мягкость. Там, откуда он ехал, реки были прочно закованы в лед, по ним тянулись наезженные снеговые дороги. А тут было черт знает что, какое-то полужидкое месиво. Но у Бычкова оставался один только выход: мчаться вперед. Остановишься — и застрянешь навек, потом никакой силой не вытащить. К тому же от реки до вершины холма, куда забралась Четверка, вела крутая дорога, и машине нужен был разгон.

Лучи фар загодя открыли опасность: они уперлись в крутой подъем дороги и растеклись по влажной, мясистой глине, которую, верно, в течение целого дня поливало и квасило дождями. Дороги, в сущности, не было, ее начисто смыло водой. Была изборожденная глубокими, полными воды рытвинами рыжая полоса меж глубоких канав, по которым бежали ручьи. Реше-

ние возникло мгновенно. Бычков переключил скорость, задохнувшись, принял на себя тяжкую инерцию груза и тяжело, на второй скорости, пополз вверх.

Поначалу казалось, что все идет благополучно. Грузовик дрожал, кренился — вот-вот опрокинется, зарывался носом в колдобины, черпал грязь и мутную воду, но упорно одолевал крутизну. Затем Бычков почувствовал, что у машины заносит зад, что ее медленно и неудержимо тянет вбок и вниз. Дело было не в пробуксовке задних колес, сама дорога сползала книзу, увлекая за собой грузовик. Она уплывала из-под колес, заводя их к кювету, грузовик шел боком, как собака деревенской улицы. А Бычков мог противопоставить всему этому лишь ровное, неспешное и неуклонное движение вперед. Он не смел ни прибавить газу, ни переключить скорость: это было бы гибельно. Нельзя было и остановиться: его бы неудержимо потянуло назад. Он мог одолеть дорогу лишь выдержкой и железным терпением, ровной неизменностью усилия, а это было дьявольски трудно, потому что каждая мышца, каждый нерв требовали вспышки, резкого, волевого действия, рывка, удара бойца. «Нельзя!» — твердил он себе, ровно и несильно давя носком сапога на педаль акселератора и легонько выкручивая баранку в сторону заноса машины. Нога, лежащая на педали газа, казалось, немела, деревенеющую икру словно сводило судорогой, но он не поддавался этой обманной боли. Нога мстила ему за то, что он не позволял ей нажать со всей силой на акселератор, высвобождая ненужную, губительную сейчас мощь мотора...

А женщина спала, откинувшись в угол кабины. Она вверила ему себя целиком, и лучше было умереть, чем обмануть ее веру. Впереди Бычков видел полосу бурой прошлогодней травы; если он сумеет добраться туда, то колеса получат упор. Тогда потребуется лишь последний, сильнейший рывок, и машина одолеет подъем.

Мокрые ладони скользили по баранке руля, едкий пот травил глаза, он смаргивал его на скулы. Теплые капли ползли по щекам, солили запекшийся рот. Бурлящая дождевой водой канава была в каких-нибудь двух-трех метрах, когда Бычков почувствовал вдруг, что колеса «схватили» дорогу. Он резко выжал газ, освобождая всю застывшую в ноге силу, грузовик трянуло, дернуло и словно выбросило на гребень подъема. Впереди, до самого поселка, открылась разбитая, в толстых складках и глянцевитых лужах такая надежная теперь дорога.

Бычков вытер лицо подолом рубахи, облизал соленые губы. Каждая жилочка, каждый мускул были скручены ноющей, тянущей болью, будто он на себе вынес грузовик со всем его грузом. Он поглядел на свою спутницу. Она сладко спала, не ве-

дая о его поединке с дорогой. Так и должно быть: он охраняет ее покой и сон, все трудное, тягостное, что может встретиться на пути человеческом, он берет на себя, у него крепкая спина, он вынесет любой груз, одолеет любую кручу, лишь бы она была рядом.

Поселок еще не спал, во многих домах и бараках горел свет. Горел он и над входной дверью и в широких окнах магазина, у которого Бычков остановил грузовик. Женщина не просыпалась, когда машина мучительно брала дорогу, но сейчас внезапный покой разом скинул с нее сон. Она зябко встряхнулась, провела тылом ладони по глазам, зевнула и стала нащаривать свои «авоськи». Под руку ей попался ватник Бычкова, она положила его на сиденье. Найдя «авоськи», она сдвинула их к краю кабины, неумело, двумя руками открыла дверцу и спрыгнула на землю. Затем сняла «авоськи». Перегнувшись через сиденье, Бычков с улыбкой следил за ее чуть неловкими спросонок, но сильными и решительными движениями.

— А что теперь с нами будет? — спросил он с выжидательной нежностью.

Женщина что-то протягивала ему, и Бычков хотел взять это что-то из ее маленького кулака и уже коснулся пальцами, как вдруг понял, что это деньги. Словно ожегшись, он отдернул руку, и две смятых в комок пятирублевки упали в грязь.

— Вы... вы что?... — пробормотал он испуганно.

Женщина нагнулась и подобрала деньги.

— Совести у вас нет! — сказала она зло и стала копаться в сумочке. — До Выселок десятку берут!..

— Да ты что? — с тоской закричал Бычков. — Смеешься, что ль, надо мной?

Женщина нашла нужную бумажку и протянула Бычкову.

— Тринадцать, больше не дам!

— Погоди... — Бычков чувствовал, как обнажается его оскаль в жалкой, жуткой, какой-то болтающейся улыбке. — Ты не слышала, что я тебе говорил?

— Всех слушать — слухалок не хватит... Берешь деньги или нет?

— Да как ты можешь? — в отчаянии крикнул Бычков и от бессилия выругался.

— Не очень-то хулюгань, здесь тебе не шоссейка. Живо в милицию отправлю!

Бычков поглядел на ее мелкое, злое, но и в злобе не ставшее открытым лицо, запертое, деловое лицо маленькой, убогой хищницы, и понял, что ему некого винить, кроме себя самого. Он все придумал про эту женщину, ей никакого дела не было до него. Она притворялась, будто слушает, чтобы он оставил ее

в покое и вез дальше, а поняв, что ей нечего опасаться, спокойно уснула.

— Не «хулюгань»,— передразнил он с презрением и болью.— Говорить научись, халява!

Он с лязгом включил скорость и так рванул с места, что выжатая колесами грязь охлестнула блестящие черные ботики женщины.

На базе Четверки было пусто, если не считать заспанного сторожа в дремучем тулупе. Бычков накинулся на старика. На кой ляд требовали они трансформатор, если и принять-то его некому? Сволочи и бюрократы, им плевать, что человек башкой рискует, чтобы доставить груз!.. Обалдевший сторож кинулся к телефону, а Бычков залез обратно в кабину. Его всего трясло. Он застегнул ватник, подтянул ноги к животу, собрал в ком тепло своего тела. Ничто не помогало, знобкая, противная дрожь пронизывала до кончиков пальцев.

А потом прибежали какие-то люди, много людей, среди них начальник Четверки, пожилой, седоголовый инженер. Они силком вытащили Бычкова из кабины, жали ему руки, хлопали по спине, обнимали, а начальник Четверки хотел даже поцеловать его, но Бычков отстранился, и начальник ткнул его холодными жесткими усами куда-то под челюсть, и все они говорили, что Бычков — геройский парень, и такой, и этакий. Оказывается, они выслали вперед своего работника, чтобы предупредить водителя о том, что проезда нет. И какой же он молодец, что не послушался и выручил, да что там, спас Четверку! Бычков вспомнил человека, махавшего руками на дороге, на которого он, охваченный своим новым счастьем, просто не обратил внимания...

— Довез, и ладно! — сказал он грубо.— Разгружайте скорее, устал я...

Начальник участка уговаривал его пойти отдохнуть: общепитие тут рядом с базой, грузовиком займется дежурный шофер,— но Бычков не стал его слушать. Не сон и не отдых были ему нужны сейчас.

Когда с разгрузкой было покончено, он залез в кабину и вывел грузовик за ворота. В конце длинной и уже темной улицы — час был поздний — по-прежнему ярко светилась вывеска над входом в забегаловку. Бычков представил себе, как войдет в жаркую, едко пропахшую пивом духоту, как опрокинет в рот граненый, отсвечивающий зеленым на гранях стакан водки, как разойдется по жилам тепло и вдруг ударит в голову одуряющим дурманом, растопив живую память и боль в сладкой хмельной тоске, и как хлынет в эту тоску песня о синем платочке, и тогда он совсем забудет себя...

Легкий, чуть слышный, нежный запах все еще держался в кабине. В нем уже ничего не осталось от запаха дешевого одеколона, пудры и мокрого меха, и оттого он пробудил в Бычковой память не о недавней его спутнице, а о той, другой, еще не встреченной им. Сегодня он глупо и жалко ошибся, ну что же, зато он узнал, что она есть. Она в нем, она уже слита с его существованием, только б не потерять ее в себе, и тогда она явится воочию, на дневной или на ночной дороге, явится навсегда. Он легко и глубоко вздохнул, и утихла мучившая его дрожь.

Огромный грузовик, уверенно шедший к своей цели, вдруг, шипя, затормозил, затем круто свернул, дал задний ход и, брызнув мощным светом фар в освещенное окно забегаловки, развернулся и покатил назад.

ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ

Первой проснулась Наташа. Это было не по правилам: первой всегда просыпалась мать. Но сейчас мать еще спала, широко раскинувшись большим телом на кровати, а под мышкой у нее, как в гнезде, скорчившись, спал Витька. Лицо матери, обращенное вверх, было красновато-смуглым и блестящим, будто крытым лазурью, рот с пунцово-красными твердыми губами широко открыт. «Какая красивая у нас мать!» — радостно подумала Наташа.

Торфяники, приехавшие накануне в новеньком ярко-голубом «Москвиче», тоже еще спали на двух тесно сдвинутых раскладушках. Из-под одеял торчали две макушки: седая Ореста Петровича и черная того новенького, который с ним приехал.

Наташа засмеялась. Она поняла сейчас, что проснулась так рано от счастья. Это счастье пришло к ней во сне. Отчего же она так счастлива? Оттого ли, что завтра Первое мая и уже сегодня не надо идти в школу? Оттого ли, что начался клев грязнухи и в тихий поселок нахлынула тьма-тьмущая рыболовов? Оттого ли, что отец обещал покатать их на новом моторе, который он наконец-то приобрёл для своей узкой, длинной, похожей на индейскую пирогу лодки? Или оттого, что она вчера обыграла Кольку во все игры: и в классы, и в чижика, и в городки, и в прятки? Или же от всего этого вместе и еще от чего-то неясного, легкого и щемящего, что ей трудно было да и не хотелось назвать?..

Наташа спрыгнула с кровати и сразу попала ногами в раз-

ношенные спортивные тапочки. Натянув узенькое платьице, сшитое матерью больше года назад, она ненароком коснулась своей уже округлившейся, твердой и теплой груди, вспыхнула и стремглав кинулась на кухню.

На печи, за ситцевой занавеской, спал отец, поздно вернувшийся с ночного дежурства. Стараясь не шуметь, Наташа быстро ополоснулась под жестяным рукомойником и выскользнула на улицу.

Как много здесь стало зеленого! Вчера еще только смородина, рассаженная вдоль завалинки, зеленела маленькими тугими листиками да трогался в зелень лозняк у реки, а сейчас зеленели ветлы, и даже старые березы на другом, высоком берегу раскрыли свои листочки. Раньше такого никогда не бывало: березы намного отставали от ивняка, тот уже пологом завешивал реку, а голые березы лишь лиловели набухшими почками. Может быть, это сделали вчерашние грозы? Они бушевали весь день, до самого вечера. Бурные, теплые, они заходили с Большого озера, с московской и ярославской сторон и раздражались над самым поселком. Когда ливень утихал крупными гулками каплями, небо окрашивалось в тускло-желтый цвет, будто за хмарной наволочью накалялись новые грозы. Земля курилась душно, парко, и чуть не на глазах ползла из нее трава, а потом небо проблескивало стальным огнем, волнами набегал глухой гром, и, прежде чем он затихал, вспыхивал волосок молнии, небо раскалывалось вдребезги, и сразу вхлест ударял ливень. Но даже в самом разгуле грозы где-то в небе оставалась чистая просинь, маленькое окошечко, куда заглядывало солнце, и оттого грозы не пугали; все казалось, что за ними придет что-то радостное...

Несмотря на ранний час, земля пахнет остро и сильно, будто ее уже успело припечь солнце. А солнце даже не поднялось над частоколом дальнего ельника, и крестовины еловых верхушек угольно чернеют на золотом фоне.

Наташа обогнула дом и вышла на огород, уклоном сбегаящий к реке. Скворцы бродят по земле, собирая всякую всячину для своих гнезд. Они делают это хозяйственно и жадно. Вот один подцепил куриное перо, но не полетел к своему домику, а забрал еще витую стружку; ему и этого показалось мало; исхитрившись, он ухватил клювиком обрывок красной тряпочки, после чего хлопнул крыльями, подскочил и полетел низко над землей на соседний двор.

А за мостом уже чернеют в воздухе тонкие удилища рыболовов, выются дымки костров. Наташа поднялась на бугор и всплеснула руками: от моста и вверх по реке, сколько хватал глаз, оба берега были усеяны рыболовами, а по ту сторону,

где в зеленый берег широким клином вдавалась песчаная сушь, грудилось до полусотни легковых и грузовых машин, автобусов, мотоциклов. Наташа побежала к реке...

Марья Васильевна проснулась чуть позже дочери. Оттого, что она лежала навзничь, она захлебнулась дыханием, ей померещилось, что она тонет. С громким влажным вздохом она привскочила и села на кровати. Кругом все было привычное, обжитое, милое и безопасное. «Дура старая!» — любовно обозвала она себя. Она уважала странное в себе: диковинный сон, внезапный приступ задумчивости или неудержимого смеха. Она чувствовала в этом скрытый запас нетронутой внутренней жизни. Ей казалось, что с другими такого не бывает. И пока она ласково корила себя за «чуждину», ее дневной, практический разум уже включился в окружающее.

Наташи нет, умчалась, не попив чаю... Колька спит на левом боку, значит, не скоро проснется. Он пробуждался так же, как мать: сперва переваливался с левого бока на правый, потом на спину и тут почти сразу терял сон... А Витька чего-то шебуршит во сне, сучит ручонками по простыне. «Это он машину вытирает!» — сообразила Марья Васильевна. Влюбившись в новенький, сверкающий «Москвич», он вчера весь вечер до полной усталости вытирал его нахлестанные бока. Силенок у Витьки мало, он больше размазывал грязь, но хозяин машины, пожилой инженер Орест Петрович, не велел ему мешать: пусть трудится...

Марья Васильевна оттолкнулась кулаками и стала на пол. Надев через голову юбку и с трудом застегнув на огромной груди вечно лопающуюся в проймах кофточку, она сунула ноги в сапоги с надрезанными голенищами. Потом, сама удивляясь обилию и весу своего тела, долго, сильно потянулась, так, что сладко хрустнули суставы. И с чего ее так разнесло? Хоть и широкая в кости, она всегда была худой, а в юности даже ледащей. Правда, всю войну она поголадьвала, а то и просто голодала. Их деревню под Тихвином сожгли немцы, отца убили в самом начале войны, мать погибла от бомбы, а сама она с престарелой бабкой два года скиталась по деревням, пока, уже со смертью старухи, не устроилась укладчицей шпал на железную дорогу. Там она и познакомилась со Степаном. Он недавно вышел из госпиталя и тоже работал на укладке шпал. Два одиноких человека связали свои судьбы. Она до сих пор считала, что Степан взял ее из жалости: не мог же он полюбить тощую, как рыба кость, девушку. Полюбил он ее много позже, когда она вошла в тело. Вскоре у них родилась Наташа, а жить им было негде. Степан вспомнил, что у него есть двоюродная бабка в поселке, и написал ей, не примет ли она их в дом. Ответ при-

шел скоро. Бабка писала, что совсем плоха, год, как обезножила, и чем ей чужого человека пускать, пусть уж лучше свои живут. Кончалось это спокойное и грустное письмо странно: «С боевым приветом, твоя бабушка Фекла Тимофеевна». Потом оказалось, что за бабушку писал демобилизованный старшина.

Несмотря на тяжелые хворости, бабка так зажила, что и сама себе стала в тягость. Она каждый день молила бога, чтобы прибрал ее, но бог, верно, не слышал. У них уже появился Колька, и тяжело было растить ребят вблизи долго и трудно умиравшего человека. Когда бабка наконец отмучилась, они за неделю выветривали из избы томный дух. Думали, теперь заживут по-человечески, а тут, как снег на голову, объявились законные бабкины наследники: старая ее дочь с мужем — железнодорожные слепцы. У Марьи Васильевны и сейчас холодело сердце при воспоминании о том, как темной, дождливой ночью вошли в дом, стуча палками по полу, порогам, стенам, два седых человека в темных очках. Слепцы долго не задержались. Они на ощупь осмотрели бабкино имущество, обнаружили, что прогорела самоварная труба, и поехали в Пензу, где у них почему-то хранилась новая труба. Марья Васильевна поверить не могла, чтобы два старых слепых человека пустились в такое путешествие ради самоварной трубы, но потом поняла: поездная жизнь им не в убыток, а в прибыль. Слепцы уехали и будто в омут канули. Долго не верила Марья Васильевна такому счастью, вздрагивала при каждом стуке оконной рамы на ветру, скрипе разошедшейся двери. А потом поверила и на радостях родила Витьку. Степан к тому времени обучился сперва на кочегара, затем на помощника машиниста, а главное, вся жизнь изменилась к лучшему, стала разумнее, щедрее...

Расчесав перед зеркалом свои густые жесткие волосы, Марья Васильевна занялась хозяйством. Она слила вчерашнюю воду из самовара, налила свежую, обтерла медные бока тряпкой и принялась лущить полено тесаком. Движения у нее были сильные, размашистые и по-особому неловкие. Ей редко удавалось взять только нужный предмет, всегда-то она прихватывала лишнее. Так и сейчас, желая взять тесак, она потащила заодно с печки какую-то ветошь, а доставая полено, развалила всю поленицу. Избыточная сила помогала ей ворочать шпалы; тогда она казалась куда сноровистее, чем в домашнем мире, населенном мелкими предметами. Она знала за собой эту «чуждину» и ласково прощала ее себе. Впрочем, сейчас шум, который она произвела, сослужил добрую службу: разбудил не в меру разоспавшихся рыболовов. Из комнаты донеслось пока-

шливание, хриплое ворчание, затем через кухню быстро прошел во двор молодой спутник Ореста Петровича...

...Наташа уже перебралась на тот берег, потолкалась среди машин, поглядела, как варят уху в ведре приехавшие на автобусе рыболовы, и чуть было не познакомилась с мальчиком в ковбойке и бархатных штанах. Мальчик был московский — он крутился возле «Победы» с московским номером, — верно, одних лет с Наташей, бледненький, нарядный и ломучий. Правда, ломучим он стал, когда заметил, что Наташа его разглядывает. Он принялся без нужды хлопать дверцами машины, что-то петь и вертеть плечами. Потом он посмотрел на Наташу и отчетливо, в никуда произнес:

— Жил на свете рыболов...

— Рыболов!... — негромко, но так, чтобы мальчик мог ее услышать, поправила Наташа.

— Он имел большой улав!..

— Улов!.. — Наташа притопнула босой ногой и ушибла пятку.

— Но попался на крючок!.. — В глазах мальчика светилось торжество.

Наташа уже не поправляла: она чувствовала какой-то подвох и насторожилась.

— Не карась, а... — Мальчик остановился.

Наташа лихорадочно подыскивала рифму, но нужное слово не шло на ум. Мальчик догадывался о ее мучениях и нарочно медлил. А когда понял, что она сдалась, взвизгнул:

— ...а башмачак!..

Сама не зная почему, Наташа ощутила такую обиду, что у нее навернулись слезы.

— Дурак!.. — крикнула она и побежала прочь.

На пешеходном мосту не протолкаться, столько тут рыболовов. Они закидывали против течения, но вода стремительно уносила поплавки под мост. Рыболовы тащили вслепую, и почти всякий раз на крючке оказывалась плотица. Так всегда тут бывало, когда шла чернуха.

Лучшее место было немного выше по реке, на мостках возле старой баньки. Там собралось до полусотни рыболовов. Они закидывали удочки из-за плеча и через голову друг друга, лески то и дело путались, слышалась веселая ругань: когда рыбы много, трудно по-настоящему злиться.

Под самой банькой ловили рыбу два крошечных незнакомых мальчугана, на которых с любопытством глазели местные ребята, Наташины друзья и подруги. «Подумаешь, невидаль — городские мальчишки!» — сказала про себя Наташа, но все-таки побежала к баньке. Уже на бегу она решила, что дело нечисто и не зря уставились ребята на городских мальчишек. За-

дохнувшись от быстрого бега и волнения, Наташа подлетела к баньке и замерла.

Под банькой с удочками в руках стояли вовсе не мальчишки, а взрослые мужчины карликового роста. Один из них был даже старый: длинные, как у попа, седые волосы спадали из-под шляпы на воротник пальто. На сморщенном его личике не было ни волоска, он походил на старушку. Зато второй был молод, лет девятнадцати-двадцати. И тот и другой были одеты не только справно, но и красиво, в крошечные, аккуратные, удивительно хорошо пригнанные вещи: пальто с кушаком, полосатые брючки, заправленные в игрушечные резиновые сапожки, на ручонках кожаные перчатки, на груди пестрые шарфики. Старший был в шляпе, а младший — в клетчатой кепочке, очень идущей к его юному румяному личику. Наташа глядела, и ее восхищенное удивление сменилось щемящей нежностью, восторгом и поклонением.

Молодой лилипут казался ей сказочным принцем. Ей нравились его коротенькие движения, и то, что он не сразу мог поймать крючок на длинной, отдуваемой ветром леске своего удилица, чтобы подсвежить мотыля, и то, что он с трудом закидывал удочку, и как неловко бросал на берег пойманную рыбу. Сама неловкость его казалась ей милой и трогательной...

За Наташиной спиной шушукались ребята. Какое право имеют они стоять тут, плятить глаза на «принца» и нести всякую чепуху? Наташа резко обернулась.

— А ну, брысь отсюда! — произнесла она негромко, и глаза ее загорелись.

Ребята попятились, они знали: когда у Наташи горят глаза, с ней лучше не связываться. Только соседка Сонька, ее подруга по играм, плаксиво сказала:

— Твои они, что ли?..

— Мои!.. — звонко крикнула Наташа, толкнув Соньку и ее меньшего братишку, Соньку, а рослого Афоню стукнула по затылку. Сонька упал, разревелся и на четвереньках пополз прочь. Остальные в беспорядке отступили.

Наташа подошла ближе к маленьким рыболовам. Те не обратили на нее никакого внимания. Старшему не везло, он все время менял место, зато «принц» попал на ямку и таскал одну плотичку за другой.

Рыбы, которых он выбрасывал на берег, подпрыгивали, вываливались в пыли, из серебристых становились грязно-черными. Наташа подобрала несколько рыбок, сполоснула их в реке и опустила в стоящее на берегу ведро. Она боялась, что «принц» обругает ее за самовольничанье, но он только покосил на нее глазом и ничего не сказал. Осмелев, Наташа перемы-

ла всех рыбок. «Принц» равнодушно, как и подобает принцу, принимал ее услуги, но девочка была благодарна ему уже за то, что он не гонит ее прочь. Только раз крикнул он тонким, резким голосом, прозвучавшим для Наташи колокольчиком:

— Подлей воды!..

Она была замечена, «принц» обратился к ней! Недаром с утра томило ее ожидание чуда...

...Колька проснулся оттого, что ему сильно нахолодило правый бок. Так и есть: Наташа опередила его. Теперь наверняка окажется, что все самое интересное произошло, пока он спал. Наташа без конца будет хвастаться, что видела и то и это, и хоть знаешь, что она привирает, ловить ее не хочется: интереснее верить, будто все ее рассказы — правда. Хоть и завидуешь, а переживаешь с ней заодно....

А впрочем, у него есть и свой собственный обширный мир, куда нет доступа сестре: поиски снежного человека. Снежный человек обитал в заброшенном карьере на другом берегу, за сосновым перелеском. Он сильно отличался от того, гималайского, о котором писала «Пионерская правда». Тот покрыт густой шерстью, не знает ни орудий, ни домашней утвари, ни огня, он ближе к зверю, нежели к человеку. Поселковый снежный человек стоит на довольно высокой ступени развития: об этом говорят не только обожженные черепки горшков со следами каких-то рисунков, но и неровные плоские кругляши-монеты и почти цельная глиняная чашка, по краям которой, если приглядеться, можно приметить следы зубов. Эти реликвии вместе с косточками и позвонками неведомых животных, металлургическими наконечниками стрел, плоским камнем, напоминающим жернов, Колька заботливо хранит в большой коробке из-под печенья, подаренной ему Орестом Петровичем...

Позже, когда игра в снежного человека наскучит Кольке, он покажет свои находки учителю, и тот сразу поймет, что Колька невзначай натолкнулся на след древнего городища. В карьер явятся ученые-археологи, начнутся раскопки, и таинственное, кропотливое дело накрепко, быть может, на всю жизнь, привяжет к себе Кольку.

Быстро одевшись, Колька вышел на кухню, когда мать ставила на стол кипящий самовар.

— Мам, погоди, ты ветошку прихватила, — сказал Колька и вытащил из пальцев матери невесть как попавший ей под руку обрывок половичка.

На лавке у окна сидел помощник инженера Шилков и ел копченого язя, старательно выбирая косточки. Самого Ореста Петровича уже не было, верно, ушел на участок. Мать снова рассказывала, как ветнадзор забрал у них заболевшую бруцел-

лезом корову, как она убивалась, когда фельдшер сводил Пеструху со двора.

— Полторы тыщи всего дали! — с каким-то странным торжеством говорила мать. — А новая цельных три стоит!..

— Ну!.. — удивился Шилков, сплевывая на тарелку косточку. — А вы подешевле купите, старую, некрасивую, только бы из нее молоко текло.

Мать громко расхохоталась, прижав руки к бедрам.

— Нешто корову по красоте берут?.. А деньги мы почти что собрали...

Колька тоже прыснул, облившись чаем.

— Я тебе!.. — замахнулась на него мать. Пусть этот городской человек сморозил чисто городскую глупость — не следует детям смеяться над взрослыми. — Витька проснулся? — спросила она.

— Вроде нет... — трубно, в кружку, ответил Колька.

Но Витька проснулся. Он не подавал голоса потому, что вернувшийся день поставил его перед мучительно трудной загадкой. Еще вчера он знал, для чего живет на свете. Он живет для того, чтобы протирать машину. Он протирал ее с самого приезда рыболовов, пока мать не погнала его в постель. Удивительное это дело, когда под тряпкой возникает яркая, блестящая синева! Но, проснувшись сейчас, он вдруг подумал: а что будет, когда он протрет всю машину? Что останется ему в жизни? Гонять кур, дразнить петуха, мешать играм Кольки с Наташей? Он уже не мог смириться с таким серым существованием. Но недаром мать считала Витьку самым толковым в семье. За его нахмуренным лбом шла напряженная работа мысли. А что, если зачерпнуть из лужи воды и размазать ее по дверце? Тогда это место можно протереть еще раз. Потом он вымажет другую дверцу и багажник. Работы хватит до самого отъезда машины. А это произойдет не скоро. Витька еще не раз будет находить ее поутру на том же месте...

Уцепившись за одеяло, Витька катнулся с края высокой кровати и вместе с одеялом сполз на пол.

Степан, громко застонав, дернулся, раскинул руки, стукнулся головой о печную трубу и проснулся.

— Опять, что ль, с фрицами воюешь? — донесся до него голос жены.

— Опять, будь они неладны! — кротко проворчал Степан.

Его дневное сознание уже работало, он слышал жену, радовался ее живому голосу, отвечал, видел печь и косяк двери, но одновременно в нем еще длилось испугавшее его сновидение: словно за частой, темной сеткой мерещился ему развороченный фугасом блиндаж, придавившая грудь балка, пустое,

бесцветное, далекое небо. Без малого пятнадцать лет, то реже, то чаще, снится ему все тот же сон: последняя его минута на войне.

Это случилось с ним на Хортице при форсировании Днепра. Помнится, он сказал себе тогда: «Ну, вот и кончилась жизнь, Степан!» А потом была бесконечная ночь, когда врачи пытались раздуть искру, чуть теплившуюся в его смятом, раздробленном, истерзанном теле, и другая, еще более страшная ночь, когда он уже смог сознавать, что лишился зрения и слуха. Слух вскоре восстановился, но слепым он оставался более двух лет. Он перенес десяток операций, его возили по разным городам, и он искренне не мог понять, чего с ним так возятся. Наконец пришел день, когда, прозревший, снова владеющий своим телом, но очень слабый, шаткий, он неуверенным шагом вышел из ворот госпиталя. Война кончилась с полгода, и те, что уцелели, жили дальше, и Степан понял, что и он должен жить дальше подаренной ему второй жизнью. Человек от природы тихий, скромный, он не заносился высоко: день прожит, и ладно. Он никогда не ждал, что судьба окажется к нему столь щедрой, что он станет и мужем и отцом семейства, что около него будут кормиться и расти трое замечательных ребят. Степан безмерно любил и почитал жену, а из всех чувств, какие он испытывал к своим детям, самым сильным было уважение. Он считал, что дети лучше, красивее, умнее и образованнее его: даже четырехлетний Витька порой ухватывал такое, до чего, он, Степан, не добирался. Он был убежден, что всем этим он обязан матери. Хотя жизнь не дала ей раскрыться, но все загнанное, потаенное в ней раскрывалось в детях, у которых будет совсем иная, прекрасная судьба. Степан гордился тем, что кормит их и одевает; сам ведь он гораздо больше обязан детям, чем они ему. То тихое, радостное удивление перед своим существованием, в каком он неизменно пребывал, шло от детей. Детям он был обязан и тем, что из укладчика шпал стал сперва кочегаром, затем помощником машиниста, а быть может — это решится сегодня, — и машинистом. Пусть это не так уж много для других — машинист на торфяной «кукушке», — для него, Степана, это было много. Когда он работал на укладке шпал и мимо проносились скорые поезда, а спаренные локомотивы тащили длиннющие, в километр, товарные эшелоны, разве мог он думать, что поведет когда-нибудь поезд! Пусть не такой — пять-шесть маленьких платформ с торфом да один пассажирский вагончик, пусть не в такие дали — всего на тридцать километров, — все же и ему сигналият светофоры: путь свободен — и ему бьет ветер в лицо. Вырастет Колька и поведет настоящие, длинные поезда (какие они тогда будут: элек-

трические, а то и ракетные?), поведет через всю страну к самому Тихому океану на огромных, неслыханных скоростях...

Так решал судьбу своего сына Степан, медленно слезая с печи. А сын в это время искал снежного человека в глубоком, изрытом красными толстыми морщинами песчаном карьере.

Когда Наташа прибежала домой, отец смазывал подвесной мотор, Витька вытирал машину, а мать, красная и взволнованная, куда-то собиралась. Наташа, ожидавшая, что ей влетит за то, что убежала, не позавтракав, скромно присела к столу и налила себе остывшего чаю. Мать повязывала голову новой шелковой косынкой и не обратила на нее никакого внимания. Наташа заметила, что мать сменила сапоги на высокие резиновые боты. Уж не в гости ли собрались они с отцом?

— М-ам, ты куда?.. — спросила Наташа.

— Да грех меня возьми! — громко, сквозь смех отозвалась мать, стягивая косынку на шею узлом вместе с выбившимися из пучка волосами. — На маленьких мужиков поглядеть. Сказывают, прибыли тут какие-то...

У Наташи перехватило дыхание, глаза ее сухо заблестели.

— Не ходи! — крикнула она и ударила ложкой по блюдцу.

— Ты что, сказалась? — захохотала Марья Васильевна, направляя кофту под юбку. — Матери запрещать!

— Не ходи!.. Не хочу!.. Не ходи... — Выскочив из-за стола, Наташа стала теребить и дергать мать.

Она и сама толком не знала, почему ей не хочется, чтобы мать шла смотреть на «маленьких мужиков». Была тут и ревность: мать такая красивая и общительная, ей ничего не стоит заговорить и подружиться с маленькими людьми... Да и не могла позволить Наташа, чтобы мать шла смотреть на «маленьких мужиков». Оберегая свой мир от постороннего вторжения, она с каким-то надрывным, жалобным смехом не пускала мать. Не понимая упрямой причуды дочери, Марья Васильевна вначале с хохотом отбивалась, а когда ей надоело это, сильно забрала обе руки дочери в свою большую пятерню и запахнула Наташу за стол.

— А ну, брысь! Разошлась больно! Не маленькая!.. — Быстро, покачивая литым станом, она пошла к двери.

Наташа долго сидела совсем тихо, будто прислушивалась к себе. Затем подумала: надо, чтобы отец прокатил их на новом моторе. Они промчатся мимо «принца», и Наташа будет стоять на носу, вся в брызгах и ветре, и он, конечно, посмотрит на нее, а она помашет ему рукой. Наташа кинулась к отцу и в сенях столкнулась с Колькой. Он нес что-то, завернутое в газету, верно, опять грязные черепки.

— Покажи! — сказала она властно.

Колька бережно развернул газету.

— Фу, какая дрянь! — брезгливо сказала Наташа.

Колька снисходительно усмехнулся. Это задело Наташу.

— Отдай! — неожиданно для самой себя сказала она, протянув руку к свертку.

— Вот еще! — отстранился Колька.

— Ну, Коленька, отдай! — вкрадчиво заговорила она.

Ей вовсе не нужны были эти черепки, но ее злило, что Колька так с ними носится. Ей хотелось настоять на своем, почувствовать свою власть, пусть даже брату станет больно.

На Колькино счастье, в сени вошел отец с мотором в руках, и Наташа вмиг забыла о черепках. Конечно, отец сразу согласился. Он, правда, думал, что они поедут завтра, когда на реке начнется общее гулянье, но если Наташе так хочется...

— Ужасно хочется! Ты всех уже катал: и Кольку и Витьку — одну меня...

— Ладно, — сказал он. — Коля, ты с нами?..

Наташа хотела поехать вдвоем с отцом, но она знала, что тут ничего не поделаешь. Все же, когда отец пригласил и Витьку, она не выдержала:

— Нечего ему ехать!..

— Что-о?! — сурово произнес отец.

— Его же укачает...

— Смотри, чтоб тебя не укачало, — проворчал отец. — Ну как, Виктор, едешь?

Надо бы поехать, хоть назло Наташке, да жалко бросать машину, и Витька отрицательно мотнул головой.

— Смотри, может, надумаешь...

Они спустились к реке. Большая лодка отца была насвежо просмолена и покрашена в голубой цвет, а по борту шла красная полоса. Отец ловко и бережно навесил мотор — молочно-белый, гладкий, с красивой надписью «Чайка».

— Пап, а «Чайка», правда, самый лучший мотор? — спросила Наташа.

— Да, — подтвердил отец. — Он и стоит хорошо: тысяча триста рублей.

— Ох! — изумилась Наташа, хотя отлично знала, сколько стоит мотор.

— Как в Москву ехал, думал «Скиф» купить, — продолжал отец. — А тут выбрасывают «Чайку». Что было делать? Восемь лошадиных сил машина!..

Дети слушают, затаив дыхание. Они наизусть знают эту нехитрую историю, но одно дело, когда отец рассказывал дома, другое дело — здесь, на реке, перед самым запуском замечательного мотора.

— Ну, думаю, где наша не пропадала! — На добром лице отца появляется испуганное выражение. — И бухнул в кассу все деньги: тысячу триста рублей.

Наташа хлопает в ладоши.

— Я ведь из зарплаты ни копейки не брал, — поясняет отец, хотя детям известно и это. — Два года копил мелкой работенкой... А как увели нашу Пеструху, хотел я продать его, да мать не позволила. «Выкрутимся, — говорит, — а то о моторе ты всю жизнь мечтал!»

— Молодец наша мать! — восхищенно говорит Колька.

— А ты, брат, думал! — с нежным светом в голубых глазах поддакивает отец.

— Что же мы не едем? — нетерпеливо спрашивает Наташа.

— Может, Виктор подойдет, — отвечает отец.

Он протирает тряпочкой мотор, прилаживает шнур, что-то подвинчивает.

— Ну, едем же! — просит Наташа.

— Неудобно будет, — говорит отец, — вдруг Виктор подойдет?

— Да не пойдет он никуда от своей машины!..

— Коля, слышь, покличь-ка брата! — говорит отец.

— Витька-а! — кричит Коля, приложив ладонь трубкой ко рту. — Витька-а!..

— Видать, крепко занят, — решает отец и отталкивается веслом от берега.

Быстрое течение подхватило лодку и повлекло за собою. Но вот отец с силой дернул шнур, мотор взревел и тут же, опущенный в воду, умерил рев до натужливого урчания и погнал крутую пенную волну. На миг лодка стала недвижно, а затем, задрвав нос, понеслась вперед против течения.

Наташа и не заметила, как остались позади тихие, пустынные берега и перед ними возник мост, усеянный рыболовами. Наташе казалось, что все с восхищением смотрят на них: отец так лихо и уверенно ведет лодку, особенно на излучинах, где волна веером распахивалась от берега до берега. Но рыболовы провожали их недобрым взглядом: моторка распугивала рыбу. Стремительно приблизился мост, вобрал их под темный свод меж ослизлых деревянных быков, обдал холодом, запахом плесени и сразу выбросил на свет, солнце, тепло.

Стоя на высоком носу лодки, Наташа тонко и смешно повизгивала от восторга. Она едва не забыла о «принце» и вспомнила о нем, когда покосившаяся, старая банька осталась позади. Наташа обернулась, но «принца» там не было. Странно, она так мечтала его увидеть, она и самое катание затеяла ради него, а сейчас, когда его не оказалось, нисколько не была огор-

чена. «Принц» обрел существование в ее сердце, и совсем ни к чему было ей снова видеть крошечного человечка в игрушечном пальто, кепке и сапожках. Ведь придуманный ею «принц» все равно видел ее стремительно скользящей по реке на быстрой лодке, ее оттянутые назад ветром волосы, сверкающие от мелких брызг лицо, видел, как она летит к нему над водой...

Когда вернулись назад, мать уже была дома. Она сменила нарядные ботики на сапоги, но все еще оставалась в новой шелковой косинке, которая придавала ей праздничный вид.

— Нагляделась? — спросил Степан.

— Ей-богу, видела! — Мать зашлась смехом и обессиленно опустила на лавку. — Чтобы мне с места не сойти, видела! А думала, брешут люди! — Она содрала с головы косинку и стала обмахиваться ею. — Да откуда же, Степа, они только берутся?

— Оттуда же, откуда все... — осторожно улыбнулся Степан.

Марья Васильевна сконфузилась, засмеялась и покраснела еще больше.

— Будет тебе!.. — замахала она на мужа руками.

Вдруг глаза ее потускнели, потом закрылись, нижняя губа отвисла, и мать, как была, сидя, задремала. С ней и прежде бывало такое. Стоило случиться чему необыкновенному, что заставляло ее восторгаться, переживать, волноваться, как возбуждение разрешалось таким вот мгновенным, коротким сном. Этот сон мог застигнуть ее и на лавке, и у печи, и у корыта, и в огороде. Спала Марья Васильевна не более двух-трех минут. Чихнув, она открыла глаза и принялась готовить обед...

Щемящая, непонятная тоска овладела Наташей. В своем доме, среди своих она ощутила себя вдруг совсем одинокой. Как потерянная, вышла она из дому и побрела через дорогу к прозрачно-редкому ольховому лесу.

Звонко спотыкаясь на стыках рельсов, прошел из города торфяной порожняк. Продолговатые, белые, как кипень, облачка дыма поплыли над землей, оставляя на проводах и деревьях ватные хлопья. Едко, тепло и сладко запахло паровозом.

В ольшанике было прохладно и сыро. Вся земля давно просохла после вчерашних ливней, только этот маленький лесок не поддавался солнцу. Под ногами хлюпало, мокрые высокие травинки щекотно липли к коленям, с деревьев стекали за ворот холодные струйки. Наташа шла напролом, с силой отмахивая мокрые ветки, и вслед ей будто рождался дождь: гулко барабанили сбитые капли по тугим лопухам.

Миновав лесок, Наташа очутилась на обширной вырубке. Ее до нитки промокшее ситцевое платье стало прозрачным, волосы жалкими прядками лепились на лбу, щеках и шее.

Впереди, сколько хватал глаз, торчали скучные черные, рыжие и серые пни — все деревья давно стали шпалами узкоколейных дорог.

А что там дальше, за этой вырубкой? Наташа не знает. Конечно, можно спросить отца, он скажет: торфяное болото, лес, река. Ну, а за торфяным болотом, лесом, рекой? И отец не знает. А что вообще лежит за тем, что мы видим и знаем? И можно ли что узнать до конца? Почему ей тоскливо и пусто сейчас, когда утром было так радостно? Она не знает. А ведь, казалось бы, о себе она все должна знать. Дальнее, самое важное и сокровенное, от нее скрыто. Неужели и взрослые люди не знают себя и так же томятся незнанием?..

Наташа заплакала... Этого с ней еще никогда не бывало: она могла плакать от боли, от злости, от зависти, от унижения, но никогда не плакала просто так. Слезы эти рождались в той самой потаенной глубине ее существа, куда она еще не могла заглянуть. Пройдет много лет, ей вспомнится и эта печальная вырубка, и холодная влага деревьев, и горячие слезы, и она поймет, когда впервые собственная душа стала для нее ношей.

Наташа плакала, сидя на пенке, и вытирала мокрое лицо мокрым подолом.

В седьмом часу вечера, сразу после обеда, отец стал собираться на работу.

— Чего это ты? — удивилась Марья Васильевна.— Тебе же к восьми!

Степан отличался медлительностью и для каждого дела оставлял себе запас времени, но на этот раз он перехватил.

— Надо...— ответил он уклончиво и стал на лавку, чтобы достать с печи ботинки.

— Постой, я тебе шерстяные носки принесу.

Марья Васильевна притащила ворох чистых портянок, носки домашней вязки и кинула на лавку.

— Обуйся теплее, вечерами сыро...

Степан взял носки, с сомнением оглядел их.

— А парных нету?

— Да нешто непарные? — Марья Васильевна видела, что сделала промашку, но не желала признаться.— Зато цельные. Небось, не на гулянку идешь, были бы ноги в тепле...

Степан стал обуваться. Плотнo натянув носки, он огладил ладонью пятку и пальцы, проверяя по военной привычке, нет ли где складочки или морщинки, затем вытащил из вороха сухих, жестких портянок кусок сурового полотна и с щелчком расправил в руках. Полотно оказалось вышито цветными нитками: огромный гусь, угрожающе растопырив крылья, пытается ущипнуть красным клювом желтенького цыпленка.

— Ты зачем мою картину взяла? — закричала Наташа и выхватила гуся с цыпленком из рук отца. Это была ее премия за общественную работу в школе.

— А пропади она пропадом! — изумилась Марья Васильевна. — Сама под руку сунулась!

Наташа бережно свернула вышивку, унесла ее в свой угол, затем быстро вернулась назад.

И Наташа и Колька любят смотреть, как отец собирается на работу. Есть особая торжественность в его медленных, округло-четких движениях. Чувствуется, что он делает все с удовольствием и вкусом, что предстоящая работа ему приятна, что жизнь вообще дело простое и радостное. А сегодня к тому же у него необычное дежурство: он идет «гасить паровоз».

За этими словами Наташе чудится: языки пламени лижут лицо и руки отца, зловеще отблескивают в его лучезарной каске, но он смело врывается в самое пекло и усмиряет бушующий огонь. Правда, со слов Кольки она знает, что паровоз гасят совсем просто: выгребают жар из топки, и делу конец. Но это объяснение странным образом не мешает Наташе видеть совсем иное.

— Пап, а ты погасишь сегодня паровоз? — спрашивает она таинственным голосом.

— Ясно, погашу, ведь праздники, — спокойно отвечает отец.

Степан зашнуровывает ботинок, ловко продевая намусоленный кончик шнура в круглые дырки; покончив с этим, туго подтягивает шнурки и обвязывает их вокруг ноги. Столь же старательно обувает он и другую ногу, затем несколько раз пристукивает ногами об пол. Натягивает фуфайку, заправляет ее в брюки, надевает пиджак, а поверх ватник. Вся эта одежда скупю и ладно облекает его, он становится упругим и плотным, и Наташе думается, что теперь отцу не страшны никакие испытания и опасности, поджидающие его там, среди беснующейся огненной стихии...

Тем временем Марья Васильевна заливает чай в термос и бросает туда несколько кусков сахара: на работе Степан никогда не ест, но пьет много.

— Где Виктор? — спрашивает отец, старательно пристраивая на голове кепку со сломанным козырьком,

— Умаялся, на копенке спит, — отзывается Марья Васильевна.

— Не простынет?

— Я попонку ему подстелила.

— В таком разе до свидания, — говорит отец. — Я сегодня рано вернусь.

Наташа глядит отцу вслед, зажмурившись, будто ослеплен-

ная сиянием невидимой каски, затем вдруг подскакивает к Кольке, нагибает его голову, больно проводит большим пальцем против волос и с высоким, испуганным криком бросается вон из дому.

Колька, счастливо засмеявшись, бежит следом за ней.

Как бы ни разлучали сестру и брата их дневные дела, к вечеру они обязательно сходились, чтобы вместе поиграть. К играм своим они привлекали обычно соседскую Соньку, черненькую девчонку, похожую на скворца: она сглаживала остроту соперничества между сестрой и братом. Сонька доверчива, бесхитростна и неловка. Она проигрывает во все игры. В прятках она всегда водит, в жмурках никого не может поймать, в пристеночке остается без единой конфетной обертки. При этом она никогда не признается, что играет хуже других, и потому ее особенно приятно обыгрывать...

— Аты-баты, шли солдаты!...— громко считает Наташа, ударяя по груди Соньку, брата и себя.

Сейчас решится, кому первому водить в прятки. В глазах Соньки ожидание, надежда, вера: быть может, наконец-то окажется, что водить не ей.

— ...и купили са-мо-вар! — произносит Наташа по складам, и последний слог решает Сонькину судьбу. Она с покорным видом прижимается головой к стене избы и крепко, до желтых кругов, зажмуривает глаза...

Теплый, мягкий вечер опустился на землю. От плетня, копны сена, от кустов вяло скопленным за день теплом, а с реки уже подавало ночной прохладой.

Наташа сильно и до болезненности остро чувствовала сейчас жизнь. Это не было похоже на давешнюю беспричинную тоску. Ей хотелось носиться, колобродить, одерживать верх, но какая-то неловкость внутри ее тела мешала ей. Так бывает во сне: чувствуешь, что можешь взлететь, стать волшебным легким и быстрым, но что-то мешает тебе, гнетет, лишает даже привычной подвижности. А потом у нее закружилась голова, и острая, горячая боль опалила живот. Она согнулась, выпрямилась и потерянно побрела к дому. Колька пошел было за ней.

— Отстань! — резко крикнула Наташа.

Она вошла в дом молча прошла мимо матери в комнату и повалилась на кровать. Секунду-другую она словно чего-то ждала, и, когда это пришло, Наташа решила: это смерть. Вот отчего было ей так тоскливо днем, вот почему томилась и страдала она вечером. Она умирает, жизнь стремительно вытекает из ее тела.

— Мама! — крикнула она отчаянно, хрипло, звонко. И когда

мать, сразу почувывая опасность, вбежала в комнату, сказала: — Я умираю.— И заплакала.

Марья Васильевна поначалу как-то оторопела, а потом засмеялась.

— Ну что ты, доченька, что ты, глупая! — говорила она.— Разве ж это смерть, это у всех девушек бывает...

— А разве я девушка? — спросила Наташа.

— Девушка,— сказала мать, и ей стало грустно.

Как-то вдруг все случилось. Она привыкла не делать различия между детьми, все они малые, все несмышлениши. А теперь нельзя, теперь Наташа совсем другая. Давно ли она кормила ее грудью, и вот уже девушка, не заметишь, как и заведется, оставит дом.

Она отвела дочь на свою кровать, бережно укрыла ее, погладила по голове и пошла за Витькой.

«Девушка»,— шептала Наташа, засыпая, и хотя ей было трудно и неприятно, она поняла, почему утром проснулась с ощущением счастья...

Витька, сонный и усталый, еще топтался у машины, но работать уже не мог. Мать взяла его на руки, нарочно, чтобы показать себе, что он еще маленький, отнесла в горницу, раздела и уложила на прежнее Наташино место.

«Не увидишь, как Колька вырастет и Витька в возраст войдет,— думала Марья Васильевна.— Да разве это жизнь, когда ты еще не старая, а в доме уже не станет детей?..»

Она почувствовала тоску по Степану, в нем была ее молодость, ее власть над временем. И она вздрогнула, когда в сенях послышался шум, и ей мелькнуло, что вернулся Степан. Но это были Орест Петрович, Шилков и Колька. Орест Петрович что-то объяснял Кольке, часто повторяя слово «ракета», и тот слушал его, широко открыв голубые Степановы глаза. Они всей гурьбой прошли в горницу. А вскоре явился и Степан. Марья Васильевна поджидала его на кухне.

— Послушай, Степ, а у нас сегодня перемены...

И она рассказала ему о Наташе.

— А-а!..— медленно проговорил Степан и как-то странно поглядел на жену.

— Стареем, — сказала Марья Васильевна.

— Да ладно! — И Степан тронул ее за локоть.

Жалость, нежность и любовь ощутила она в этом прикосновении.

— Я сегодня тоже, пожалуй, на печке лягу,— тихо, шепотом сказала Марья Васильевна.— А то Наташе тесно будет.

— Ага,— тоже шепотом отозвался Степан.— А знаешь, какое

дело,— добавил он, потупившись,— мы теперь богатые...— Он смущенно засмеялся.

— Что так?

— На машиниста я сдал,— не глядя на жену, ответил Степан.— Сегодня приказом провели... Вроде подарка к Перво-му мая...

— Пстой! — Красновато-смуглое лицо Марьи Васильевны даже чуть побледнело.— Дай я тебя поцелую!..

Пока на кухне шел этот разговор, Колька тоже не спал. Он мучительно думал над тем, почему Наташа перешла спать к матери. С ним ей было куда удобнее: мать спала широко, при ней и Витька едва умещался, а он, Колька, спал скупно, у самой стенки, калачиком. Если он засыпал раньше Наташи, она щекотала его травинкой, а то забирала на себя все одеяло и приглушенно смеялась, глядя, как он сучит голыми ногами. Затем они часто рассказывали друг другу страшные небылицы. Что же заставило ее уйти? Одно за другим перебирал Колька события сегодняшнего дня и наконец решил: Наташа не простила ему того, что он отказался подарить ей свои находки в песчаном карьере...

Колька тяжело вздохнул: он столько надежд связывал с этими черепками, наконечниками, монетами! Но ничего не поделаешь: дружба сестры дороже. Он перелез через Витьку, тихо опустился на пол и оттащил коробку из-под печенья в Наташин угол. Сестра утром проснется, увидит, и все пойдет у них по-прежнему. На душе у Кольки стало легко, он поправил на брате одеяло и, сложившись калачиком, отвернулся к стене. Он еще слышал, как щелкнул выключатель на кухне, как шумит, укладываясь, мать, потом он уже ничего не слышал.

Время близится к полночи. Семья спит.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Эхо	3
Человек и дорога	16
Перед праздником	31

Цена 6 коп.

Индекс 70668

ПРЕПАРАТЫ ВИТАМИНОВ

"А" и "D"

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫ ДЕТЯМ

Они ароматны, приятны на вкус, их готовят с какао и сладким фруктовым сиропом.

Эти препараты выпускает московский рыбообработывающий комбинат Росмясорыбторга.

